

Донна Тартт

ЩЕГОЛ

Роман



18+

DONNA TARTT

ПУЛИТЦЕРОВСКАЯ
ПРЕМИЯ 2014 ГОДА

CoRpus

Annotation

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, — огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно — подчас совсем не так, как нам того хочется — способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, — и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

Донна Тартт

Щегол

© Тау, Ltd. 2013

© А. Завозова, перевод на русский язык, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Издательство CORPUS ®

* * *

Маме, Клоду

Абсурд не освобождает, он сковывает.

Альбер Камю

Глава первая

Мальчик с черепом

1.

Тогда в Амстердаме мне впервые за много лет приснилась мама. Уже больше недели я безвылазно сидел в отеле, боясь позвонить кому-нибудь или выйти из номера, и сердце у меня трепыхалось и подпрыгивало от самых невинных звуков: звяканья лифта, дребезжания тележки с бутылочками для минибара, и даже колокольный звон, доносившийся из церкви Крейтберг и с башни Вестерторен, звучал мрачным лязганьем, возвещая, будто в сказке, о грядущей гибели. Днем я сидел на кровати, изо всех сил пытаюсь разобрать хоть что-то в голландских новостях по телевизору (бесполезно, ведь по-голландски я не знал ни слова), а затем сдавался, садился к окну и, кутаясь в наброшенное на плечи пальто из верблюжьей шерсти, часами глядел на канал: я уезжал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез с собой, не спасали от холода даже в помещении.

За окном все было исполнено движения и смеха. Было Рождество, мосты через каналы по вечерам посверкивали огоньками, громыхали по булыжным мостовым велосипеды с привязанными к багажникам елками, которые везли румяные *damen en heren*^[1] в развешивающихся на ледяном ветру шарфах. Ближе к вечеру любительский оркестр заводил рождественские песенки, которые, хрупко побрякивая, повисали в зимнем воздухе.

Всюду подносы с остатками еды, слишком много сигарет, теплая водка из дьюти-фри. За эти беспокойные дни, проведенные взаперти, я изучил каждый сантиметр своей комнаты, как узник камеру. В Амстердаме я был впервые, города почти не видел, но сама унылая, сквозняковая бессолнечная красота номера остро отдавала Северной Европой — миниатюрная модель Нидерландов, где беленые стены и протестантская прямота мешались с цветастой роскошью, завезенной сюда с Востока торговыми судами. Непростительно много времени я провел, разглядывая пару крохотных картинок маслом, висевших над бюро: на одной крестьяне катались возле церкви на коньках по затянутому льдом пруду, на другой беспокойное зимнее море подбрасывало лодку — картинки для декора, ничего особенного, но я изучал их так, будто в них был зашифрован ключ к самым сокровенным тайнам старых фламандских мастеров. За окном ледяная крупа барабанила по подоконнику и присыпала канал, и хотя занавеси были парчовыми, а ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный желудок.

Рано утром, пока не рассвело, пока не вышел на работу весь персонал и в холле только начинали появляться люди, я спускался вниз за газетами. Служащие отеля двигались и разговаривали еле слышно, скользили по мне прохладными взглядами, будто бы и не замечали американца из двадцать седьмого, который днем не высовывался из номера, а я все убеждал себя, что ночной портье (темный костюм, стрижка ежиком и очки в роговой оправе) в случае чего не будет поднимать шума и уж точно постарается избежать неприятностей.

В “Геральд Трибьюн” о передрыге, в которую я попал, не было ни слова, зато эта история была в каждой голландской газете: плотные столбцы иностранного текста мучительно прыгали перед глазами, но оставались за пределами моего понимания.

Onopgeloste moord. Onbekende^[2]. Я поднялся наверх, залез обратно в кровать (не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно) и разложил газеты по покрывалу: фотографии полицейских машин, оцепленное лентами место преступления, невозможно было разобрать даже подписи к фото, и, хотя имени моего вроде бы нигде не было, никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внешности или пока они не обнародовали эту информацию.

Комната. Батарея. *Een Amerikaan met een strafblad*^[3]. Оливково-зеленая вода канала.

Из-за того что я мерз, болел и чаще всего не знал, куда себя деть (я и книжку не догадался захватить, не только теплую одежду), большую часть дня я проводил в постели. Ночь, казалось, наступала после полудня.

То и дело — под хруст разбросанных вокруг газет — я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были пропитаны той же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрствование: залы суда, лопнувший на взлетной полосе чемодан, моя одежда повсюду и бесконечные коридоры в аэропортах, по которым я бегу на самолет, зная, что никогда на него не успею.

Из-за лихорадки мои сны были странными и до невероятного реальными, и я бился в поту, не зная, какое теперь время суток, но в ту, последнюю, в самую ужасную ночь я увидел во сне маму: быстрое, загадочное видение, будто визит с того света. Я был в магазине Хоби — если совсем точно, в каком-то призрачном пространстве сна, похожем на схематичный набросок магазина, — когда она внезапно возникла позади меня и я увидел ее отражение в зеркале. При виде нее я оцепенел от счастья, это была она, до самой крошечной черточки, до россыпи веснушек; она мне улыбалась, она стала еще красивее, но не старше — черные волосы, забавно вывернутые кверху уголки рта — будто и не сон вовсе, а сущность, которая заполнила всю комнату собственной силой, своей ожившей инаковостью. И, хотя этого мне хотелось больше всего на свете, я знал, что обернуться и взглянуть на нее — значит нарушить все законы ее мира и моего, только так она могла прийти ко мне, и на долгое мгновение наши взгляды встретились в зеркале, но едва мне показалось, что она вот-вот заговорит — со смесью удивления, любви, отчаяния, — как между нами закрубился дым и я проснулся.

2.

Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так уж вышло, что она умерла, когда я был еще подростком, и, хотя в том, что произошло со мной после этого, виноват только я, все же, потеряв ее, я потерял и всякий ориентир, который мог бы вывести меня в какую-то более счастливую, более людную, более нормальную жизнь.

Ее смерть стала разделительной чертой: До и После. Спустя столько лет, конечно, это звучит как-то совсем мрачно, но так, как она, меня больше никто не любил.

В ее обществе все оживало, она излучала колдовской театральный свет, так что смотреть на мир ее глазами означало видеть его куда ярче обычного: помню, как мы с ней ужинали в итальянском ресторанчике в Гринич-Виллидж за пару недель до ее смерти и как она ухватила меня за рукав, когда из кухни вдруг вынесли почти что до боли прекрасный праздничный торт с зажженными свечами, как на темном потолке дрожал слабый круг света и как потом торт поставили сиять в центре семейного торжества, как он расцвел лицо старушки и вокруг засверкали улыбки, а официанты отошли назад, сложив руки за спины —

самый обычный праздничный ужин в честь дня рождения, на который можно наткнуться в любом недорогом ресторане в даунтауне, который я бы и не запомнил вовсе, не умри она вскоре, но после ее смерти я снова и снова вспоминал его и, наверное, буду вспоминать всю жизнь: кружок свечного света, живая картинка повседневного обычного счастья, которое я потерял вместе с ней.

И еще она была красивой. Это, наверное, уже не так важно, но все-таки: она была красивой. Когда она только-только перебралась в Нью-Йорк из Канзаса, то подрабатывала моделью, хотя так и не смогла преодолеть свою зажатость перед камерой настолько, чтобы добиться успеха, и если способности у нее и были, то на пленке этого не отражалось.

И все же она была целиком, с ног до головы диковинкой. Я не встречал никого, похожего на нее. У нее были черные волосы, белая кожа, которая летом покрывалась веснушками, ярко-синие, полные света глаза, а в скате ее скул читалось такое причудливое смешение дикарства и “Кельтских сумерек”^[4], что люди иногда принимали ее за исландку. На самом деле же она была наполовину ирландкой, наполовину чероки, родом из канзасского городка на границе с Оклахомой; она любила смешить меня, говоря про себя “оки-доки”^[5], хотя вся была лощеная, нервная, тонкая, будто скаковая лошадь. Ее экзотическая природа на фото, к сожалению, получалась слишком резкой и безжалостной — веснушки спрятаны под слоем тональника, волосы собраны в низкий хвост, будто у благородного мужа из “Повести о Гэндзи”, — и за кадром оставалась вся ее теплота, вся ее веселая непредсказуемость, которую я так любил в ней. По той оцепенелости, которой так и веет от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла камере; в ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем другая. Двигалась она с поразительной быстротой, ее жесты были легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке стула, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая вот-вот вспорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат ее духов, резкий и неожиданный, я любил крахмальный хруст ее рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились на нее так, что я даже немного тревожился.

Я виноват в ее смерти. Люди всегда — чуточку чересчур поспешно — принимались уверять меня, что нет, не виноват, конечно же, *еще совсем пацан, да кто же знал, ужасная случайность, вот ведь невезуха, да с кем хочешь такое могло случиться*, — да, чистая правда, и я не верю ни одному их слову.

Это случилось в Нью-Йорке, 10 апреля, четырнадцать лет назад. (Даже моя рука отдергивается от этой даты, нужно сделать усилие, чтобы записать ее, чтобы заставить ручку коснуться бумаги. Обычный день, который теперь торчит из календаря ржавым гвоздем.)

Если бы день прошел так, как задумывалось, он растаял бы в небе незамеченным, сгинул бы без следа вместе с остатками восьмого школьного года. Что бы я сейчас вспомнил? Да ничего, ну или почти ничего. Но теперь, конечно, сама ткань того утра кажется мне яснее настоящего — до самого промозглого, сырого прикосновения воздуха. Ночью лил дождь — ужасный ливень, магазины были подтоплены, несколько станций метро закрыты, и мы с ней стояли на чавкающем коврике у парадного, пока Золотко — любимый мамин швейцар, который обожал ее, пятился по Пятдесят седьмой, размахивая рукой и высвистывая такси.

Автомобили рассекали пласты грязной воды, набухшие дождем облака теснились над небоскребами, расступаясь и разъезжаясь, чтобы показать клочки чистого голубого неба, а

внизу, на улице, под выхлопными газами воздух был влажным и нежным, как весна.

— Ах, сударыня, и этот занят, — крикнул нам Золотко через уличный рев, уворачиваясь от такси, которое проплыло за угол и погасило огонек. Из всех швейцаров он был самым маленьким: хрупкий, худенький, подвижный кроха, светлокожий пуэртиориканец, бывший боксер-легковес.

И хотя лицо у него было одутловатым от алкоголя (иногда в ночную смену он выходил, попахивая дешевым скотчем *J&B*), сам он был жилистым, мускулистым и проворным — вечно дурачился, вечно выбегал покурить за угол, в холодную погоду прыгал с ноги на ногу и дул на свои затянутые в белые перчатки руки, рассказывал анекдоты на испанском и подкалывал остальных швейцаров.

— Вы сегодня очень торопитесь? — спросил он маму. На бейджике у него было написано “БЕРТ Д.”, но все звали его Золотко, потому что у него был золотой зуб и потому что его фамилия — Де Оро — по-испански означала “золото”.

— Нет-нет, у нас еще куча времени. — Но выглядела она уставшей, а когда принялась перевязывать хлопавший и трепыхавшийся на ветру шарф, руки у нее дрожали.

Золотко, верно, и сам это заметил, потому что глянул на меня (уклончиво прижавшегося к бетонной клумбе перед домом, смотревшего во все стороны, но только не на нее) с легким неодобрением.

— А ты не к метро? — спросил он меня.

— Нет, у нас с ним есть дела, — не слишком убедительно ответила мама, когда поняла, что я не знаю, что сказать. Обычно я не обращал много внимания на ее одежду, но то, как она была одета в то утро (белый тренч, воздушный розовый шарф, черно-белые двухцветные лоуферы), теперь выжжено у меня в памяти так прочно, что мне трудно вспомнить ее в чем-то другом.

Мне было тринадцать. Ненавижу вспоминать, как натянуто мы с ней общались в то утро — настолько, что нашу скованность заметил даже швейцар; будь все по-другому — и мы бы с ней по-дружески болтали, но в то утро нам было нечего сказать друг другу, потому что меня временно отстранили от занятий. Накануне ей позвонили из школы на работу, домой она вернулась злой и молчаливой, а хуже всего — я даже не знал, за что меня исключили, хотя процентов на семьдесят пять был уверен, что мистер Биман по пути из своего кабинета в учительскую выглянул в окно второго этажа ровно в тот самый неподходящий момент, когда я курил на территории школы. (Точнее, видел, как я стоял рядом с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе практически приравнивалось к курению.) А курение моя мать терпеть не могла. Ее родители — рассказы о которых я обожаю слушать и которые совсем нечестно умерли до того, как я успел с ними познакомиться — были милейшими людьми, которые тренировали лошадей, разъезжали по всему Западу и зарабатывали на жизнь разведением лошадей моргановской породы: любители коктейлей и канасты, живчики, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и сигареты держали в серебряных портсигарах по всему дому. Но однажды моя бабка вернулась из конюшен и, переломившись надвое, начала кашлять кровью, поэтому, пока мама была подростком, на крыльце все время стояли кислородные баллоны, а в спальне были наглухо опущены занавеси.

Но я боялся, и не без причины, что сигарета Тома была только верхушкой айсберга. В школе у меня давно были неприятности. Все началось, а скорее понеслось вниз по наклонной за пару месяцев до этого, когда отец бросил нас с мамой; мы с ней никогда его особенно не любили и в общем-то без него были куда счастливее, но все вокруг приходили в

ужас, узнав, как внезапно он исчез (не оставив нам ни денег, ни алиментов, ни обратного адреса), и мои учителя в школе в Верхнем Вест-Сайде так жалели меня, так рвались оказать поддержку и проявить понимание, что мне — ученику-стипендиату — позволяли многое: сдавать работы с опозданием, по два-три раза переписывать контрольные, и на такой вот веревочке, которая вилась месяцами, я ухитрился спустить себя в глубокую дыру.

Поэтому нас обоих — меня и маму — вызвали в школу. “Переговоры” были назначены на одиннадцать тридцать, но поскольку матери пришлось отпроситься с работы на все утро, мы ехали в Вест-Сайд пораньше — позавтракать (и, как я догадывался, серьезно поговорить) и еще купить подарок на день рождения какой-то маминой коллеге. Ночью она до половины третьего сидела за компьютером — монитор высвечивал ее напряженное лицо — и писала письма, пытаясь как-то разгрести дела на время своего отсутствия.

— Не знаю, как вам, — с чувством говорил Золотко моей маме, — но с меня хватит этой весны и этой сырости. Дожди, дожди...

Он поежился, картинно приподнял воротник и взглянул на небо.

— Вроде бы обещали, что к обеду распогодится.

— Знаю, но я уже готов к лету. — Потер ладони одна о другую. — Все уезжают из города, ненавидят лето, жалуются на жару, но я — я птичка тропическая. Чем теплее, тем лучше. Дашь жару! — Захлопал в ладоши, снова попятился вниз по улице. — А что лучше всего — знаете? Это как стихает тут все в июле, все здания сонные, пустые, все уехали, понимаете? — Щелкнул пальцами, такси пронеслось мимо. — Вот тогда у меня каникулы.

— Но ведь тут на улице зажариться можно. — Мой угрюмый папаша просто ненавидел эту ее черту, ее умение завязывать разговоры с официантками, швейцарами, старыми астматиками из химчистки. — Зимой, по крайней мере, можно еще одну куртку накинуть...

— Эй, разве вы зимой торчите на улице? Говорю вам, тут очень холодно. Неважно, сколько на тебе шапок и сколько курток. Стоишь тут в январе, феврале, а с реки дует ветер. Бррр!

Уставившись на такси, которые пролетали мимо вытянутой руки Золотка, я нервничал и жевал заусенец на большом пальце. Я понимал, что до одиннадцати тридцати ожидание будет сущей пыткой, и изо всех сил старался не дергаться и не спрашивать у матери что-нибудь, что выведет меня на чистую воду. Я не имел ни малейшего понятия о том, что нас с мамой ждет в кабинете директора: от самого слова “переговоры” веяло встречей на высшем уровне, обвинениями и угрозами, и, быть может, — исключением.

Потеря стипендии была бы катастрофой — с тех пор как отец нас бросил, мы были на мели: денег едва хватало на оплату квартиры. Помимо всего прочего, я до ужаса боялся, что мистер Биман каким-то образом узнал, что мы с Томом Кейблом залезли в несколько пустых летних коттеджей, когда я гостил у него в Хэмптонс. Я сказал “залезли”, хоть мы и не вскрывали замков, и ничего не ломали (мать Тома работала агентом по недвижимости, и мы открывали двери запасными ключами, утянутыми из ее офиса). В основном мы залезали в чуланы и рылись в комодах, но кое-что и брали: пиво из холодильника, игры для Xbox, DVD (“Дэнни Цепной Пес” с Джетом Ли) и, в общей сложности, девяносто два доллара — измятые пятерки и десятки из кухонных склянок, россыпи мелочи из комнат со стиральными машинами.

Стоило мне подумать об этом, как меня начинало подташнивать. С тех пор как я гостил у Тома, прошло уже несколько месяцев, но как бы я ни старался убедить себя, что про дома, куда мы лазили, мистер Биман, конечно же, не знает — да и откуда он мог узнать, — мое

воображение билось и металось у меня в голове паническими зигзагами. Я решил, что ни в коем случае не заложу Тома (хотя не был на сто процентов уверен, что он уже не заложил меня), но тогда я оказывался в очень неприятном положении. И как можно было быть таким идиотом? Незаконное проникновение в чужой дом — преступление, людей за это в тюрьму сажают. Всю ночь накануне я промучился без сна, ворочаясь с боку на бок, наблюдая, как зубчатые кляксы дождя шлепают по подоконнику, раздумывая, что же сказать, если все выплывет. Но как я мог оправдаться, если даже не знал, что именно им известно?

Золотко тяжело вздохнул, опустил руку и попятился назад, к моей матери.

— Невероятно, — сказал он, измученно косясь одним глазом на дорогу. — Весь Сохо затопило, но про это вы, наверное, слышали, а Карлос говорил, что возле ООН еще несколько улиц запружены.

Я угрюмо смотрел, как толпа рабочих вытекает из городского автобуса — мрачная, как осиный рой. Шансов поймать такси было бы больше, если бы мы с мамой прошли пару кварталов на запад, но мы с ней уже порядочно знали Золотко и понимали: захоти мы ловить машину сами — обидим его. И ровно в ту же секунду — так неожиданно, что мы все аж вздрогнули — такси с зеленым огоньком заскользило прямо к нам, разбрызгивая веером из-под колес пахнущую канализацией воду.

— Осторожно! — крикнул Золотко, отпрыгивая в сторону, когда такси причалило. Тут он заметил, что у мамы нет зонтика.

— Погодите! — бросил он, кинувшись в парадное, где в медном коробе у камина лежала огромная коллекция забытых и потерянных зонтов, которые в дождливую погоду обретали новых хозяев.

— Не надо, — крикнула в ответ мама, пытаясь выудить из сумочки свой крошечный складной красно-белый, как карамелька, зонтик, — не беспокойтесь, Золотко, все есть...

Золотко выпрыгнул обратно на обочину и захлопнул за ней дверь такси. Затем нагнулся и постучал по стеклу.

— Хорошего вам денечка, — сказал он.

3.

Хотелось бы думать, что я человек, не лишенный интуиции (ну а кто себя таковым не считает), поэтому соблазн вписать сюда тень, сгущавшуюся над нашими головами, очень велик. Но в отношении будущего я был слеп и глух, меня волновала и угнетала только предстоящая встреча в школе. Когда я позвонил Тому, чтобы сообщить, что меня временно исключили (пришлось шептать по домашнему телефону, мобильник она отобрала), Том не слишком удивился.

— Слушай, — сказал он, перебив меня, — не тупи, Тео, никто ничего не знает, просто держи пасть на замке, — и добавил, не дав мне вставить ни слова: — Извини, мне пора. — Он бросил трубку.

Я попытался приоткрыть окошко такси, чтобы впустить хотя бы немного воздуха — но куда там. Пахло так, будто на заднем сиденье ребенку меняли грязные подгузники, а может быть, там и в самом деле кто-то обоссался, и вонь потом попытались замаскировать букетом освежителей воздуха с кокосовым ароматом, которые пахли кремом для загара. Сиденья были засаленные, залатанные изолентой и уже почти не пружинили. Любой выступ на

дороге — и зубы у меня стучали друг о друга, как религиозные побрякушки, свисавшие с зеркала заднего вида: медальоны, маленький изогнутый меч, кружившийся на пластмассовой цепочке и картинка с бородатым гуру в тюрбане, который пронзительно тарачился на заднее сиденье, подняв с благословением руку.

Мы неслись по Парк-авеню, мимо стоявших навтыжку рядов красных тюльпанов. Болливудская попса, убавленная до тихого, почти подсознательного нытья, гипнотически свивалась и посверкивала где-то на самом краю моего сознания. На деревьях только-только начали появляться листья. Разносчики из “Д’Агостино” и “Тристедес”^[6] толкали тележки, нагруженные продуктами; измотанные менеджерши на шпильках цокали по тротуарам, таща за собой упирающихся дошкольников; дворник в форменной одежде сметал мусор, выплывший из канав, в совок на длинной ручке; юристы и биржевики выставляли в воздух раскрытые ладони и морщили брови, взглядывая на небо. Пока нас трясло вдоль авеню (мама выглядела жалко и цеплялась за подлокотник), я глядел в окно на диспетичные офисные лица (люди с беспокойными взглядами, одетые в дождевики, мнутя в мрачной уличной толпе, пьют кофе из картонных стаканчиков, говорят по мобильным, искоса поглядывают по сторонам) и изо всех сил старался не думать о бедах, которые меня поджидают: среди них фигурировали суд по делам несовершеннолетних и тюрьма.

На Восемьдесят шестой такси вдруг резко повернуло. Мама съехала ко мне и схватила меня за руку — я заметил, что она вспотела и стала бледная как смерть.

— Укачало? — спросил я, на мгновение позабыв о своих переживаниях. Лицо у нее сделалось несчастное, застывшее — я не раз видел эту гримасу: плотно сжатые губы, блестящий от пота лоб, огромные остекленевшие глаза.

Она хотела было что-то сказать, но тотчас же прижала ладонь ко рту — такси резко затормозило на светофоре, швырнув нас сначала вперед, а затем назад, на спинки сидений.

— Держись, — сказал я, нагнулся и постучал по сальной плексигласовой перегородке — сидевший за рулем сикх в тюрбане аж вздрогнул от неожиданности.

— Эй, — крикнул я в окошечко, — слушайте, мы тут выйдем, ладно?

Сикх — отражаясь в увешанном побрякушками зеркале — внимательно посмотрел на меня.

— Хотите выйти тут?

— Да, пожалуйста.

— Но это не тот адрес, который вы сказали.

— Да, но и здесь сойдет.

Я обернулся: мама — тушь растеклась, лицо измученное — рылась в сумке в поисках бумажника.

— С ней все хорошо? — с сомнением спросил таксист.

— Да-да, нормально, нам просто нужно выйти.

Трясущимися руками мать вытащила несколько мятых и влажных на вид долларов и затолкала их в окошечко. Сикх (смирившись, отвернувшись) взял деньги, а я вылез наружу и придержал маме дверь.

Вылезая из машины, мама слегка споткнулась, и я поймал ее за руку.

— Ты как, нормально? — робко спросил я ее, когда такси умчалось. Мы были в жилой части Пятой авеню, где дома выходят на Центральный парк.

Она глубоко вздохнула, вытерла пот со лба и сжала мою руку.

— Фу-ух, — сказала она, обмахивая лицо ладонью. Лоб у нее по-прежнему блестел, а

взгляд оставался немного стеклянным; она напоминала слегка взъерошенную морскую птицу, которую ветром снесло с курса. — Прости, до сих пор подташнивает. Слава богу, что мы выбрались из этого такси. Я в порядке, сейчас продышусь.

Мы стояли на продуваемом ветром углу, а мимо нас текли потоки людей: школьницы в форменных платьях, смеясь, на бегу огибали нас; няньки толкали перед собой громоздкие коляски, в которых сидело по двое, а то и по трое младенцев. Встревоженный папаша адвокатского вида пронесся мимо, как на буксире таща за запястье маленького сына. “Нет, Брейден, — говорил он сыну, который семенил сзади, стараясь за ним поспеть, — так думать нельзя, куда важнее иметь работу, которая тебе нравится...”

Мы отошли в сторону, чтобы увернуться от мыльной воды, которую уборщик выплескивал из ведра на тротуар перед домом, где он мыл полы.

— Слушай, — сказала мама, приложив пальцы к вискам, — мне показалось или в этом такси невероятно...

— Воняло? “Гавайскими тропиками” и детскими какашками?

— Честное слово, — она обмахнулась ладонью, — все было бы ничего, если бы не эти бесконечные рывки и остановки. Все было нормально, и тут меня как накрыло.

— Ну так почему же ты никогда не попросишь сесть спереди?

— Ты говоришь точь-в-точь как твой отец.

Я смущенно отвел взгляд, потому что тоже это расслышал — отзвук его раздражающего всезнайского тона.

— Давай пройдемся до Мэдисон и там сядем где-нибудь, — сказал я.

Я умирал от голода, а там как раз был мой любимый дайнер.

Но, чуть ли не дрожа, с заметно нахлынувшей тошнотой, мать помотала головой.

— Свежий воздух, — кончиками пальцев стерла потеки туши под глазами, — на воздухе так хорошо.

— Конечно, — отозвался я даже слишком быстро, желая ей угодить, — как скажешь.

Я изо всех сил старался быть хорошим, но мама — в полуобморочном состоянии — этот тон расслышала; она пристально поглядела на меня, пытаюсь понять, что у меня на уме. (Еще одна наша с ней дурная привычка, появившаяся из-за долгого существования вместе с отцом: мы всегда пытались прочесть мысли друг друга.)

— Что такое? — спросила она. — Ты хочешь куда-то пойти?

— Да нет, совсем нет, — сказал я, делая шаг назад и, забежав глазами от страха: хоть мне и хотелось есть, я чувствовал, что вообще не вправе о чем-либо просить.

— Я сейчас приду в себя. Еще минутку.

— Может быть... — я заморгал, заволновался: чего она хочет, чем ее порадовать? — ...
Может быть, посидим в парке?

К моему облегчению, она кивнула.

— Решено, — ответила она, как я его называл, “тоном Мэри Поппинс”, — сейчас, продышусь только.

И мы с ней пошли к переходу на Семьдесят девятой улице, мимо топиариев в вычурных кадках и массивных дверей, зашнурованных железом. Свет потускнел до промышленно-серого, а ветер рванул, как пар из чайника. На противоположной стороне улицы, возле парка, художники расставляли мольберты, раскатывали холсты, подкалывали акварели с собора Святого Патрика и Бруклинского моста.

Мы шагали молча. В голове у меня вертелись собственные переживания (звонили ли

родителям Тома? И почему я его об этом не спросил?) и завтрак, который я собирался заказать, как только удастся затащить ее в дайнер (омлет с луком, ветчиной и зеленым перцем, а к нему картофель по-домашнему и бекон; мама будет то же, что ест всегда — яйцо-пашот на ржаном тосте и кофе без молока и сахара), поэтому я и не смотрел, куда мы идем, и вдруг понял, что она что-то сказала. Она смотрела не на меня, а куда-то вдаль, через парк; выражение ее лица напомнило мне про тот известный французский фильм, названия которого я не помнил, — там, где, задумчивые люди бродят туда-сюда по улицам в ветреную погоду и много разговаривают, но — никогда друг с другом.

— Что ты сказала? — спросил я, замешкавшись на пару мгновений и затем ускорив шаг, чтобы ее нагнать. — Скажи мне время?..

Она испуганно глянула на меня, как будто и позабыла вовсе, что я шел рядом. Хлопавший на ветру белый тренч подчеркивал ее длинные, как у ибиса, ноги, казалось, она вот-вот расправит крылья и воспарит над парком.

— Скажи мне время, да?

— Ой, — она замерла, а затем помотала головой и засмеялась — своим поспешным, резким, детским смехом. — Нет, я сказала: искажение времени.

Странно, наверное, но я понял, что она имеет в виду, или думал, что понял: дрожь разъединения, потерянные на тротуаре секунды — будто икота исчезнувшего времени, пара кадров, вырезанных из фильма.

— Нет-нет, щенуля, это все потому, что мы тут, — она взъерошила мне волосы, вызвав у меня кривую, смущенную улыбку: щенуля, свое детское прозвище я любил не больше, чем когда мне ерошат волосы, но хоть и чувствовал себя глупо, все-таки обрадовался, что настроение у нее улучшилось. — В этом месте со мной всегда такое творится. Стоит здесь оказаться, и вот мне снова восемнадцать, и я только-только сошла с автобуса.

— Здесь? — с сомнением переспросил я, разрешая ей держать меня за руку, чего обычно я бы ни за что не позволил. — Странно.

Я знал все о том, как мать только-только перебралась на Манхэттен, тогда еще она жила очень далеко от Пятой авеню — на авеню Би, в комнатке над баром: в подъезде ночевали бомжи, пьяные драки из баров выплескивались на улицы, а сумасшедшая старуха по имени Мо незаконно держала десять или двенадцать кошек на закрытом лестничном пролете, ведущем на крышу.

Она пожала плечами:

— Ну да, но здесь все так же, как и тогда, когда я все это увидела впервые. Временной туннель. В Нижнем Ист-Сайде — сам знаешь, как там вечно все меняется, — я себя чувствую как Рип ван Винкль, все старше и старше. Иногда будто бы просыпаюсь — а за ночь все витрины переделали. Старые рестораны все позакрывались, а на месте химчистки — новый модный бар...

Я хранил вежливое молчание. Она все чаще и чаще заговаривала о течении времени, может быть, потому что приближался ее день рождения. *Старовата я для такого*, сказала она за пару дней до этого, когда мы с ней обшарили всю квартиру, перетряхнув все диванные подушки и вывернув карманы всех пиджаков и пальто, чтобы наскрести денег для курьера из продуктового.

Она поглубже засунула руки в карманы тренча:

— Давай сюда, здесь потише, — сказала она. Голос ее звучал легко, но взгляд у нее был мутный, было видно, что из-за меня она не выспалась. — Эта часть Парка — одно из

немногих мест, где еще можно увидеть, каким этот город был в конце девятнадцатого века. Еще кое-где, в Грамерси и Виллидж. Когда я только приехала в Нью-Йорк, думала, что в этом районе все как будто слеплено из книжек Эдит Уортон, “Фрэнни и Зуи” и “Завтрака у Тиффани”.

— “Фрэнни и Зуи” — это ж Вест-Сайд.

— Да, но я тогда была дура и этого не знала. Я что хочу сказать — по сравнению с Нижним Истом, где бездомные жгли костры в мусорных баках, тут все было совсем по-другому. На выходных тут было просто сказочно — можно было бродить по музею, фланировать в одиночестве по Центральному парку...

— Фланировать? — Она знала так много слов, которые для меня звучали сущей экзотикой: “фланировать” показалось мне каким-то лошадиным термином из ее детства: может, фланировать — это неспешно так галопировать, может, это какой-то ход, что-то среднее между кентером и рысцей.

— Ну, знаешь, так лавировать, курсировать, как я тогда. Денег нет, носки с дырами, жила на одной овсянке. Представляешь, иногда по выходным я сюда пешком доходила. Экономила, чтобы хватило на обратную поездку. Тогда еще жетоны были, а не карточки. И хотя за вход в музей полагается платить — “пожертвование в размере...”, помнишь? Ну, наверное, у меня тогда наглости было побольше, или, может, меня просто жалели, потому что... Ой! — вдруг ее голос изменился, она резко притормозила, да так, что я прошагал немного вперед, даже не заметив этого.

— Что? — Я обернулся. — Ты чего?

— Почувствовала что-то. — Она выставила ладонь и глянула на небо. — А ты нет?

Стоило ей произнести это, и свет будто погас. Небо начало стремительно темнеть — темнее и темнее с каждой секундой, ветер прошуршал по деревьям в парке, молодые листочки хрупко и желто заострились на фоне черных туч.

— Черт, вот так дела, — сказала мама. — Сейчас как польет.

Она вытянулась, чтобы оглядеть улицу, поглядела на север — такси не было.

Я снова схватил ее за руку.

— Пойдем, — сказал я. — На той стороне шансов больше.

Мы нетерпеливо ждали, пока “Стоп” на пешеходном переходе мигнет красным последний раз. Обрывки бумаги вертелись в воздухе и неслись вниз по улице.

— Смотри, вон такси, — сказал я, глянув в начало Пятой, но в этот же самый миг к нему, размахивая рукой, подбежал бизнесмен, и зеленый огонек погас.

На противоположной стороне улицы художники поспешно накрывали картины пленкой. Продавец кофе затягивал свой киоск на колесах ставнями. Мы рванули через переход и едва успели перебежать дорогу, как тяжелая капля дождя шлепнула меня по щеке. Крупные коричневые круги размером с десятицентовик — хаотично, на большом расстоянии друг от друга — с щелканьем покрыли тротуар.

— Ах, черт! — вскрикнула мама. Она принялась искать в сумке свой зонтик, под которым и одному-то человеку было мало места, про двоих и говорить нечего.

И тут хлынул ливень: холодные струи дождя ветром косило в стороны, потоки воды сминали верхушки деревьев, хлестали по навесам через дорогу. Мама изо всех сил пыталась раскрыть над нами свой дурацкий зонтик, но у нее никак не получалось. Люди на улице и в парке закрывали головы газетами, портфелями, взлетали по ступеням вверх к музейному портику — только там и можно было укрыться от дождя.

И что-то было в нас с ней такое праздничное, счастливое, когда мы бежали по ступеням, укрывшись хлипким карамельно-полосатым зонтиком — скорей-скорей-скорей, — будто бы мы только что спаслись от ужасной беды, а не прибежали напрямик к ней в лапы.

4.

Три важных события произошли в жизни моей матери после того, как она приехала в Нью-Йорк из Канзаса, без друзей и почти что без денег. Первое — когда она работала официанткой в кофейне в Виллидж — ее, недокормленного подростка в мартенсах и шмотках из секонд-хэнда, с такой длинной косой, что она могла на ней сидеть, увидел модельный скаут по имени Дейви Джо Пикеринг. Когда она принесла ему кофе, он предложил ей сначала семь сотен, а потом и тысячу долларов за то, чтобы она подменила модель, которая не явилась на шедшую поблизости съемку для каталога. Он указал на фургон съемочной группы, на оборудование, которое расставляли в парке на Шеридан-сквер, отсчитал банкноты, разложил их на столе. “Дайте мне десять минут”, — сказала она, разнесла остальные утренние заказы, сняла передник и ушла из кофейни.

— Я всего-то снималась для каталогов, — она всегда старалась это уточнить, чтобы было понятно, что она никогда не ходила на показах и не позировала для модных журналов, — только для рекламок сетевых магазинов, торговавших дешевой повседневной одеждой для юных мисс в Миссури и Монтане.

Иногда было весело, рассказывала она, но только иногда; в январе они снимались в купальниках, дрожа от гриппозного озноба, а летом жарились в твиде и трикотаже посреди искусственных осенних листьев — вентилятор гонял туда-сюда горячий воздух, а визажист метался между кадрами, чтобы успеть запудрить пот у нее на лице.

Но за те годы, пока она стояла перед камерой и притворялась, что учится в колледже — в декорациях, изображавших студенческий городок, втиснувшись в кадр вдвоем, втроем, с прижатыми к груди учебниками, — она ухитрилась скопить достаточно денег на настоящую учебу и поступила на историю искусств в Нью-Йоркский университет.

До того как ей исполнилось восемнадцать и она перебралась в Нью-Йорк, она ни разу не видела живьем ни одного шедевра живописи и теперь горела желанием наверстать упущенное: “чистое блаженство, просто рай”, говорила она, зарывшись по уши в книги по искусству и всматриваясь в одни и те же старые слайды (Мане, Вюйар) до тех пор, пока не поплывет в глазах. (“Бред, конечно, — говорила она, — но я была бы совершенно счастлива, если б всю оставшуюся жизнь могла бы сидеть и разглядывать с полдесятка одних и тех же картин. По-моему, лучше способа сойти с ума и не придумаешь”.)

Учеба стала вторым важным событием в ее нью-йоркской жизни — для нее, наверное, самым важным. И если бы не третье (встреча с моим отцом и их свадьба — невелика удача по сравнению с первыми двумя), она совершенно точно получила бы степень магистра, а потом и доктора.

Стоило ей выкроить пару свободных часов — и она тотчас же мчалась в музей Фрика, или в Мет, или в Музей современного искусства, и потому, пока мы стояли в музейном портике, с которого стекала вода, и глядели, как на мутной Пятой авеню белые капли отскакивают от тротуара, я вовсе не удивился, когда она сказала, встряхивая зонт:

— Может, зайдём, пошатаемся там немного, пока лить не перестанет?

— Мммм... — Я думал только о завтраке. — Давай.

Она поглядела на часы.

— Ну, а что нам остается. Такси-то мы сейчас точно не поймаем.

Тут она была права. Но я умирал с голоду. Ну когда мы уже поедем, сердито думал я, поднимаясь вслед за ней по ступеням. Насколько я знал, после школы она будет так на меня зла, что вряд ли покормит обедом и придется мне дома есть какие-нибудь хлопья с молоком.

И все же в походе музей всегда было что-то каникулярное, и едва мы вошли и нас объял радостный туристический гул, я почувствовал себя до странности отгороженным от всего, что еще могло поджидать меня в тот день. В холле было шумно, разило запахом сырой одежды. Мимо нас вслед за деловой, похожей на стюардессу женщиной-гидом прошуршала насквозь промокшая толпа пожилых азиатов; забрызганные грязью герлскауты, перешептываясь, сгрудились у гардероба; возле стойки справок вытянулась очередь кадетов из военной школы — серая форма, руки за спинами, фуражки долой.

Меня, городского ребенка, вечно запертого в четырех стенах, музей интересовал в первую очередь потому, что был огромен — целый дворец, где залам не было конца, и чем дальше ты забирался, тем пустынное становилось вокруг. Позаброшенные будуары и отгороженные канатами гостиные в недрах залов европейских интерьеров, казалось, были скованы могущественными чарами и сюда вот уже сотни лет не ступала нога человека. Едва мне разрешили одному ездить на метро, я стал часто приезжать сюда, слоняться в одиночестве по залам, теряться в них, забредая все дальше и дальше в галерейный лабиринт, пока не оказывался в забытых залах с фарфором и оружием, в которых прежде не бывал (и, случалось, потом не мог отыскать снова).

Топчась позади матери в очереди на вход, я запрокинул голову и уставился в глубокий купол потолка двумя этажами выше: иногда, если глядеть изо всех сил, могло показаться, будто паришь там, вверху, словно перышко — детский фокус, который с возрастом я разучился делать. Мама между тем — с покрасневшим носом, запыхавшаяся от нашего забега под дождем — пыталась выцепить из сумки бумажник.

— Я, может, потом заскочу в сувенирный, — говорила она. — Уверена, что Матильда меньше всего на свете хочет получить в подарок книгу по искусству, но жаловаться она вряд ли будет, чтобы не выставить себя дурой.

— Фу-у, — сказал я. — Так подарок для Матильды?

Матильда была арт-директором рекламного агентства, где работала мама, она была дочкой французского текстильного магната, моложе мамы и славилась своей склонностью — могла забиться в припадке, если ей казалось, что в автосервисе или ресторане ее не обслужили на высшем уровне.

— Ага, — она молча протянула мне пластинку жвачки, я взял ее, и она кинула пачку обратно в сумку. — Тут такая штука, на самом деле, с Матильдой, что подарок для нее, если выбирать с умом, стоит немного — в идеале какое-нибудь недорогое пресс-папье с блошиного рынка. И это было бы прекрасно, если б только у нас было время кататься в центр и обшаривать блошинные рынки. В прошлом году подарок выбирала Прю, и она запаниковала, в обеденный перерыв кинулась в “Сакс”, в конце концов отдала еще своих пятьдесят долларов, помимо собранных, за солнечные очки — от Тома Форда, кажется, а Матильда все равно не удержалась от шуточки про американцев и их культуру консьюмеризма. А Прю ведь даже не американка, она из Австралии.

— Вы обсуждали это с Серджио? — спросил я.

Серджио, который редко появлялся в офисе, все чаще — на страницах светской хроники вместе с людьми вроде Донателлы Версаче, был мультимиллионером и владельцем агентства, где работала мама, “обсудить с ним что-то” все равно что спросить: “А что бы сделал Иисус на моем месте?”

— Серджио думает, что книга по искусству — это альбом Хельмута Ньютона, ну или, может, тот фотоальбом, который выпустила Мадонна.

Я хотел было спросить, кто такой Хельмут Ньютон, но у меня появилась идея получше:

— А может, ты ей подаришь проездной на метро?

Мама закатила глаза:

— Уж поверь мне, стоило бы.

Недавно у них встала вся работа из-за того, что шофер Матильды попал в пробку и она застряла в ювелирной студии в Уильямсбурге.

— А ты анонимно. Оставь его у нее на столе, возьми старый, без денег. Просто чтобы посмотреть, что она делает.

— Я тебе скажу, что она делает, — ответила мама, просовывая в окошко кассы свой абонемент. — Уволит свою ассистентку и половину продюсеров в придачу.

Рекламное агентство, в котором работала мама, специализировалось на женских аксессуарах. Днями напролет под нервным и слегка злобным взглядом Матильды она руководила фотосъемками, в которых хрустальные серьги поблескивали в сугробах искусственного праздничного снега, а сумки из крокодиловой кожи, позабытые на задних сиденьях пустых лимузинов, сияли в венцах небесного света. Получалось у нее хорошо, находиться за камерой ей нравилось больше, чем перед ней, и я знал, что ей приятно видеть свои работы на плакатах в подземке или на рекламных щитах на Таймс-сквер.

Но, несмотря на глянец и блеск ее работы (завтраки с шампанским, подарочные корзины из “Бергдорфа”), мама часто работала сверхурочно, и я знал, что ее печалит пустота, которая кроется за всем этим. Больше всего она бы хотела продолжить учебу, хотя, разумеется, мы с ней оба понимали, что теперь, после ухода отца, это практически невозможно.

— Так, — сказала она, отходя от окошка и вручив мне значок, — ты тоже следи за временем, хорошо? Выставка огромная, — она указала на плакат “ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ И НАТЮРМОРТЫ: РАБОТЫ СЕВЕРНЫХ МАСТЕРОВ ЗОЛОТОГО ВЕКА”, — все мы посмотреть не успеем, но есть пара вещей...

Дальше я не расслышал: плетясь позади нее вверх по главной лестнице, я разрывался между благоразумной необходимостью держаться рядом и желанием отстать на пару шагов и притвориться, что я не с ней.

— Терпеть не могу смотреть все второпях, — говорила она, когда я нагнал ее на верху лестницы, — но, с другой стороны, это такая выставка, куда нужно приходиться два или три. “Урок анатомии” мы с тобой просто обязаны посмотреть, хотя больше всего я хочу увидеть одну крохотную, очень ценную работу художника, который был учителем Вермеера. Великий старый мастер, о котором ты и не слышал. Ну и картины Франца Хальса, само собой. Хальса ты видел, правда? “Веселого собутыльника”? И регентов богадельни?

— Ну да, — осторожно сказал я.

Из всех упомянутых ей картин я знал только “Урок анатомии”. Ее фрагмент был напечатан на плакате с названием выставки: сизая плоть, многочисленные оттенки черного, запойного вида хирурги с налитыми кровью глазами и красными носами.

— Это основы основ, — сказала мама. — Сюда, налево.

Наверху стоял промозглый холод, а волосы у меня еще не просохли после дождя.

— Нет-нет, сюда, — сказала мама, поймав меня за рукав.

Найти выставку оказалось сложно, и пока мы брели сквозь людные галереи (пробирались в толпу, выбирались из толпы, поворачивали направо, поворачивали налево, отступали назад через лабиринты с непонятными схемами и знаками), огромные мрачные репродукции “Урока анатомии” беспорядочно возникали в самых неожиданных местах, зловещий указатель — вечный старческий труп с освежеванной рукой, а под ним красная стрелка: *анатомический театр, туда*.

Меня не слишком вдохновляла перспектива разглядывать кучу картин с голландцами в темной одежде, и поэтому, когда мы толкнули стеклянную дверь — из гулкого холла попав в ковровую тишину, — я поначалу подумал, что мы ошиблись залом. От стен исходила теплая матовая дымка роскоши, подлинной спелости старины, но она тотчас же разламывалась на ясность цвета и чистый северный свет, на портреты, интерьеры, натюрморты — от крошечных до исполинских; дамы с мужьями, дамы с болонками, одинокие красавицы в расшитых платьях и отдельные величественные фигуры торговцев в мехах и драгоценностях. Банкетные столы после пиршеств, заваленные яблочной кожурой и скорлупками грецких орехов, складки тканей и серебро, обманки с ползающими насекомыми и полосатыми цветами. Лимоны со снятой цедрой, чуть твердеющей на кромке ножа, зеленоватая тень от пятна плесени. Свет, бьющий в ободок наполовину пустого бокала с вином.

— Этот мне тоже нравится, — прошептала мама, подойдя ко мне — я стоял возле маленького и особенно привязчивого натюрморта: на темном фоне белая бабочка порхает над каким-то красным фруктом. Фон — насыщенный шоколадно-черный — излучал затейливое тепло, отдававшее набитыми кладовыми и историей, ходом времени.

— Уж они умели дожать эту грань, голландские художники — как спелость переходит в гниль. Фрукт идеален, но это ненадолго, он вот-вот испортится. Особенно здесь, видишь, — сказала она, протянув руку у меня из-за плеча, чтобы прочертить форму в воздухе, — вот этот переход — бабочка. — Подкрылье было таким пыльцеватым, хрупким, что, казалось, коснись она его и цвет смажется. — Как красиво он это сыграл. Покой с дрожью движения.

— Долго он это рисовал?

Мама, которая стояла чуточку слишком близко к картине, отступила назад, чтобы окинуть ее взглядом, совершенно не замечая жующего жвачку охранника, внимание которого она привлекла и который пристально пялился ей в спину.

— Ну, голландцы микроскоп изобрели, — сказала она. — Они были ювелирами, шлифовщиками линз. Они хотели, чтобы все было подробнее некуда, потому что даже самые крошечные вещи что-нибудь да значат. Когда видишь мух или насекомых в натюрмортах, увядший лепесток, черную точку на яблоке — это означает, что художник передает тебе тайное послание. Он говорит тебе, что живое длится недолго, что все — временно. Смерть при жизни. Поэтому-то их называют *natures mortes*. За всей красотой и цветением, может, этого и не углядишь поначалу, маленького пятнышка гнили. Но стоит приглядеться — и вот оно.

Я наклонился, чтобы прочесть набранную неброскими буквами табличку на стене, из которой я узнал, что художник — Адриен Коорт, даты рождения и смерти не установлены — при жизни был неизвестен, а его работы получили признание только в 1950-х годах.

— Эй, мам, — сказал я. — Ты это видела?

Но она уже прошла дальше. Залы были с низкими потолками, прохладные, приглушенные, никакого мощного рева и эха, как в холле внизу. И хотя народу на выставке было порядочно, вокруг все ощущалось какой-то покойной, змеистой заводью, герметично запечатанным штилем: протяжные вздохи и акцентированные выдохи напоминали об аудитории, где идет экзамен. Я следовал за мамой, пока она зигзагами перемещалась от портрета к портрету, гораздо быстрее, чем обычно на выставках — от цветов к ломберным столам, к фруктам; много картин она просто пропускала (четвертая по счету серебряная кружка или мертвый фазан), к каким-то сворачивала без промедления (“Так, Хальс. Иногда он деревня деревней, со всеми этими его пьяницами и девками, но если шедевр — так это шедевр. Никакой суеты и выписывания деталей, он мажет по влажному, шлеп-шлеп — и так *быстро!* Лица и руки прорисованы четко, он знает, куда в первую очередь упадет взгляд, но взгляни на одежду — небрежная, почти что набросок. Посмотри, как открыто, современно он работает кистью!”) Какое-то время мы простояли перед картиной Хальса — мальчик, который держит череп (“Не обижайся, Тео, но, как по-твоему, на кого он похож? На кое-кого, — она дернула меня за волосы, — кому не мешало бы подстричься!”) — и затем перед двумя огромными портретами пирующих офицеров его же работы, по ее словам, очень-очень известными и оказавшими огромное влияние на Рембрандта. (“Ван Гог тоже любил Хальса. Он когда-то где-то написал про Хальса: «У Франца Хальса не менее двадцати девяти оттенков черного!» Или двадцати семи?”) Я следовал за ней в каком-то ступоре потерянного времени, радуясь ее страстности, тому, как явно она позабыла о летевших минутах. По ощущениям наши полчаса уже почти истекли, но мне все равно хотелось помедлить, отвлечь ее в детской надежде на то, что время пройдет и мы опоздаем на встречу.

— Теперь Рембрандт, — сказала мама. — Все всегда говорят, мол, это полотно о разуме и просвещении, рассвет научной мысли и все такое, но у меня мурашки по коже от того, какие они тут все вежливые и официальные, столпились вокруг труп, как возле шведского стола на коктейльной вечеринке. Хотя, — показала она, — видишь вон тех двоих удивленных мужиков? Они смотрят не на тело, они смотрят на нас. На нас с тобой. Как будто увидели, что мы стоим перед ними — два человека из будущего. Увидели — и вздрогнули. “А вы что тут делаете?” Очень натурально. И еще, — она обвела труп пальцем в воздухе, — если приглядеться, само тело нарисовано не слишком реалистично. От него исходит странное сияние, видишь? Они чуть ли не инопланетянина вскрывают. Видишь, как подсвечены лица мужчин, которые глядят на него? Как будто у трупа есть собственный источник света. Он рисует его таким радиоактивным, потому что хочет привлечь к нему наши взгляды, хочет, чтобы труп выпрыгивал на нас из картины. И вот здесь, — она показала на руку со снятой кожей, — видишь, как он обращает на нее наше внимание, сделав ее такой огромной, не пропорциональной всему телу? Он ее даже развернул, чтобы большой палец оказался не с той стороны. И это сделано намеренно. С руки снята кожа — мы сразу это видим, что-то не так, но, перевернув палец, он делает это зрелище еще более не таким, и даже если мы сами не можем понять, в чем дело, наше подсознание это отмечает, тут что-то совсем неверное, неправильное. Это очень ловкий ход.

Мы стояли позади толпы азиатских туристов, голов было так много, что я едва видел картину, но, впрочем, тогда мне уже было не до картины, потому что я увидел ту девчонку.

Она тоже меня видела. Мы с ней поглядывали друг на друга, пока бродили по галереям. Я и не понимал даже, что в ней было такого интересного, потому что она была младше меня и выглядела немного странно, совсем не так, как девчонки, на каких я обычно западал — то

были крутые серьезные красотки, которые в школьных коридорах на всех глядели с презрением и встречались со взрослыми парнями. У этой же были ярко-рыжие волосы и стремительные движения, лицо ее было резким, проказливым, странным и глаза чудного цвета — золотые, медово-коричные. И несмотря на то, что она была худенькой — сплошные локти — и почти простушкой на вид, было в ней что-то такое, от чего в животе у меня все обмякло. В руках у нее был потертый футляр для флейты, который она то подкидывала, то качала из стороны в сторону, — так она местная? Зашла перед уроком музыки? А может, нет, думал я, кружа вокруг нее, пока мы с мамой переходили в следующую галерею, — одета она простовато, провинциально, туристка, наверное. Но двигалась она с куда большей уверенностью, чем большинство знакомых мне девчонок, а лукавый, невозмутимый взгляд, которым она меня окинула, проскользнув мимо, свел меня с ума.

Я тащился за мамой, вполуха слушая, что она там говорит, как вдруг она так резко затормозила перед картиной, что я чуть в нее не врезался.

— Ой, прости, — сказала она, даже не взглянув на меня, немного подвинувшись, чтобы я мог подойти.

Лицо у нее как будто светилось изнутри.

— Вот, я про него говорила, — сказала она. — Удивительный, правда?

Я наклонил голову к матери, как будто внимательно слушаю, но не мог оторвать взгляда от девочки. Ее сопровождал забавный персонаж — седой старичок с таким же резким личиком, поэтому было ясно — это какой-то ее родственник, может, дедушка: на нем было пальто в “гусиную лапку” и длинные узкие ботинки с зеркальным блеском. Глаза у него были близко посажены, нос — крючковатый, будто клюв, двигался он, прихрамывая — точнее, все его тело будто клонилось в одну сторону: одно плечо было выше другого, а ссутулься он еще сильнее, можно было бы принять его за горбуна. И в то же время выглядел он элегантно. Было ясно, что девочку он обожает: он ковылял рядом с дружелюбным, смешливым видом и, склонив к ней голову, старательно глядел, куда ставит ноги.

— Это самая первая картина, в которую я по-настоящему влюбилась, — говорила мама. — Не поверишь, но она была в книжке, которую я в детстве брала из библиотеки. Я садилась на пол у кровати и часами ее рассматривала, как замороженная — такой кроха! И в общем-то невероятно, сколько всего можно узнать о картине, если долго-долго смотреть на репродукцию, даже если репродукция не лучшего качества. Сначала я полюбила птицу, ну, как домашнее животное, что-то вроде того, а потом влюбилась в то, как она была написана. — Она рассмеялась. — “Урок анатомии” был, кстати, в той же книжке, но его я боялась до трясучки. Захлопывала книгу, если вдруг наткнушь на него.

Девочка и старик встали рядом с нами. Я смущенно наклонился и взглянул на картину. Она была маленькой, самой маленькой на всей выставке и самой простой: желтый щегол на незатейливом бледном фоне прикован к насесту за веточку-ножку.

— Он был учеником Рембрандта и учителем Вермеера, — сказала мама. — И это крошечное полотно — то самое недостающее звено между ними. Ясный чистый дневной свет — сразу видно, откуда взялся у Вермеера свет такого качества. Конечно, в детстве я ни о чем таком и не подозревала, ни о какой исторической важности. Но она тут.

Я отступил назад, чтобы получше разглядеть картину. Птичка была серьезной, деловой — никакой сентиментальности, — и то, как ловко, ладно вся она подобралась на жердочке, ее яркость и тревожный, настороженный взгляд напомнили мне детские фотографии моей матери — темноголового щегла с внимательными глазами.

— Знаменитая трагедия в истории Голландии, — говорила мама. — Была разрушена бóльшая часть города.

— Что?

— Взрыв в Дельфте. При котором погиб Фабрициус. Учительница вон там рассказывала про это детям, не слышал?

Слышал. На выставке было три могильных пейзажа работы Эгберта ван дер Пула, на всех — разные виды одной той же выжженной пустоши: разрушенные обгоревшие дома, ветряные мельницы с продырявленными крыльями, воронье, кружащее в дымном небе. Официального вида тетенька громко рассказывала группе школьников лет десяти-одиннадцати, что в семнадцатом веке в Дельфте взорвались пороховые склады и что вид полуразрушенного города преследовал художника, стал его навязчивой идеей, и он рисовал его снова и снова.

— Ну вот, Эгберт был соседом Фабрициуса, он, похоже, тронулся умом после порохового взрыва, по крайней мере, мне так кажется, а Фабрициус погиб, и его мастерская была разрушена. Почти все картины были уничтожены, кроме вот этой. — Возможно, она ожидала, что я что-то скажу, но когда я промолчал, она продолжила. — Он был одним из величайших художников своего времени, в одну из великих эпох живописи. Он был очень-очень знаменит. Печально, потому что сохранилось всего-то пять или шесть его картин. Остальное сгнуло — все-все его работы.

Девочка с дедом тихонько топтались рядом с нами, слушая мою маму, от чего мне было немножко неловко. Я отвернулся, но потом, не в силах удержаться, снова глянул на них. Они стояли совсем близко, так близко, что протяни я руку — и коснулся бы их. Она теребила деда за рукав, тянула за руку, чтобы прошептать ему что-то на ухо.

— Ну по мне, — продолжала мама, — так это самая замечательная картина на всей выставке. Фабрициус ясно дает понять, что он открыл что-то совсем свое, о чем до него не знал ни один художник в мире, даже Рембрандт.

Очень тихо, так тихо, что я едва расслышал, девочка прошептала:

— Она всю жизнь должна была сидеть вот так?

Я думал о том же: прикованная ножка, ужасная цепь; ее дед пробормотал что-то в ответ, но мама, которая, казалось, совсем их не замечала, хотя они стояли к нам вплотную, шагнула назад и сказала:

— Такая загадочная картина, такая простая. И по-настоящему нежная — так и манит к себе поближе, правда? Куча мертвых фазанов, а тут — крохотное живое существо.

Я позволил себе еще разок украдкой взглянуть на девочку. Она стояла на одной ноге, выпятив бедро в сторону. А затем — совершенно внезапно — повернулась и посмотрела прямо мне в глаза, а я, после секундной заминки, отвел глаза.

Как ее зовут? Почему она не в школе? Я попытался разобрать нацарапанное на футляре имя, тянул шею, правда, чтобы это не было уж слишком заметно, но так и не мог разобрать резкие, заостренные маркерные линии — будто и не надпись, а рисунок, вроде тех, что напыляют краской в вагонах метро. Фамилия была короткая, всего четыре или пять букв, первая была похожа на Н, или это была П?

— Конечно, люди умирают, — продолжала мама. — Но как же до боли мучительно и бездарно мы теряем вещи. По чистой беспечности. Из-за пожаров, войн. Устроить в Парфеноне пороховой склад. Наверное, когда удастся спасти хоть что-то от хода истории, это уже само по себе чудо.

Дедушка прошел на несколько картин вперед, но девочка медлила в паре шагов от нас и продолжала кидать взгляды на меня и маму. Прекрасная кожа: молочно-белая, руки будто точеный мрамор. И занимается спортом, это видно, хотя для тенниса она слишком бледная — может быть, балет, гимнастика или, например, прыжки в воду, и она тренируется по вечерам в сумрачных бассейнах, а вокруг — эхо, дрожащий в воде свет, темная плитка. Она входит в воду до самого дна, изогнувшись и вытянув носки — беззвучный *хлоп*, блестящий черный купальник, пузырьки пенятся, струятся вокруг ее напряженной фигурки.

И с чего бы такой навязчивый интерес? Неужели нормально так живо, до дрожи привязываться к незнакомцам? Вряд ли. Невозможно ведь представить, чтобы какой-то прохожий на улице вдруг вот так заинтересовался мной. Но именно поэтому я лазил тогда по домам вместе с Томом: меня завораживали совершенно незнакомые мне люди, я хотел знать, что они едят и из каких тарелок, какие фильмы смотрят и какую музыку слушают, я хотел забраться к ним под кровати, в потайные ящики их столов, в их тумбочки и карманы. Часто, замечая на улице интересных прохожих, я мог потом думать о них днями напролет — воображать себе их жизнь, придумывать про них истории, сидя в подземке или в городском автобусе. Прошло уже много лет, а я все помню двух темноволосых детей в форменной одежде католической школы — брата и сестру, которые на Центральном вокзале в буквальном смысле слова оттаскивали своего отца от дверей какого-то злачного бара, вцепившись в рукава его пиджака. Не мог я забыть и хрупкую, похожую на цыганку девушку в инвалидном кресле, которая сидела перед входом в отель “Карлайл” и без передышки рассказывала что-то на итальянском пушистой собачке у нее коленях, пока стоявший за креслом жуликоватого вида мужчина (отец? телохранитель?) явно проворачивал по телефону какую-то сделку. Годами эти люди крутились у меня в голове, мне было интересно, кто они и как живут, и я знал теперь, что выйду из музея и буду задаваться теми же вопросами о девочке и ее деде. Старик был богат, это было видно по одежде. Но почему они вдвоем — и больше никого? И откуда они? Быть может, они из какой-нибудь большой и причудливой нью-йоркской семьи музыкантов или ученых, огромного такого богемного семейства из Вест-Сайда, которых часто видишь возле Колумбийского университета или на приемах в Линкольн-центре. Или, может быть, этот уютный старичок ей вовсе и не дедушка. Может, он учитель музыки, а она флейтистка-вундеркинд, которую он откопал в каком-нибудь маленьком городке и привез выступить в Карнеги-холле...

— Тео! — вдруг сказала мама. — Ты слушаешь?

Ее голос вернул меня на землю. Мы дошли до последнего зала выставки. Дальше был сувенирный магазин — открытки, касса, глянецовые стопки книг по искусству, — и мама, к сожалению, следила за *временем*.

— Надо проверить, идет ли еще дождь, — говорила она. — У нас есть еще пара минут... — Она посмотрела на часы, бросив взгляд на табличку “Выход” у меня за спиной. — Но если я хочу все-таки купить что-то Матильде, то надо бы заскочить в магазин внизу.

Я заметил, что, пока мама говорила, девочка рассматривала ее — с любопытством скользила взглядом по маминым гладким черным волосам, забранным в хвост, приталенному тренчу из белого атласа, и сам вдруг с трепетом увидел ее глазами девочки — как совершенно незнакомому человеку. Заметила ли она крошечный бугорок на маминой переносице — это она в детстве сломала нос, свалившись с дерева? Или то, что ее светло-голубые радужки окольцованы черными кругами и вид у нее от этого слегка диковатый,

словно у ясноглазого хищника посреди пустынной равнины?

— Знаешь, — мама обернулась через плечо, — если ты не против, я быстренько сбегая и гляну еще разок на “Урок анатомии”. Мне так и не удалось подойти поближе и, боюсь, у меня не получится попасть сюда еще раз.

Она пошла обратно, деловито застучав каблуками, оглянулась на меня — ну, *идешь?*

Все вышло так неожиданно, что на секунду я растерялся.

— Эммм... — сказал я, опомнившись, — давай в сувенирном встретимся.

— Ладно, — сказала она. — Купи мне парочку открыток, хорошо? Я буквально на минутку.

Не успел я сказать и слова, как она умчалась. Не веря своей удаче, я с колотящимся сердцем наблюдал, как ее белый атласный тренч быстро удаляется от меня. Вот он, вот он шанс поговорить с девчонкой, но *что мне ей сказать*, лихорадочно думал я, *что сказать?* Я засунул руки в карманы, вдохнул-выдохнул, чтобы собраться с духом и — с искрящим в животе волнением — повернулся к ней.

И с ужасом увидел, что она ушла. Ну то есть не совсем ушла, конечно — вон, рыжая голова неохотно (вроде бы) мелькает в другом конце зала. Дед подхватил девочку под руку и, с воодушевлением ей что-то нашептывая, тянул ее смотреть какую-то картину на противоположной стене.

Я готов был его убить. Нервно оглянулся на вход в зал — никого. Засунул руки поглубже в карманы и с пылающим лицом зашагал напролом через галерею. Время шло, вот-вот вернется мама, и хотя я понимал, что у меня не хватит духу протиснуться к ним поближе и открыть рот, но по крайней мере я мог хорошенько поглядеть на нее напоследок. Недавно мы с мамой допоздна смотрели “Гражданина Кейна”, и меня захватила мысль о том, как можно один раз мельком увидеть очаровательную незнакомку и помнить ее всю оставшуюся жизнь.

Когда-нибудь я тоже, как тот старик в фильме, откинусь на спинку кресла и скажу с ностальгией во взгляде: “Это было шестьдесят лет назад, больше я никогда не встречал ту рыжеволосую девочку, но знаете что? Не прошло и дня, чтобы я не вспоминал о ней”.

Я уже прошел почти полгалереи, как произошло что-то странное. Музейный охранник пробежал к выходу в сувенирный магазин. Он что-то держал в руках.

Девочка его тоже увидела. Ее коричнево-золотые глаза встретились с моими: испуганный, удивленный взгляд.

Внезапно из магазина вылетел еще один охранник. Он размахивал руками и кричал.

Завертелись головы. Позади меня кто-то произнес странным невыразительным голосом: ой. И тотчас же стены содрогнулись от ужасного оглушительного взрыва.

Старик — глаза пустые — споткнулся, завалился набок. Его протянутая рука с растопыренными узловатыми пальцами — последнее, что я помню. И почти в тот же миг — черная вспышка, вокруг взметнулись и скрутились обломки, рев горячего ветра врезался в меня и швырнул через всю комнату. И какое-то время я не знал больше ничего.

5.

Не знаю, сколько я пробыл в отключке. Когда очнулся, казалось — лежу, распластавшись на животе в песочнице, на какой-то темной детской площадке, в незнакомом месте, в безлюдном районе. Коренастые крепкие пацаны сгрудились вокруг меня и пинают под ребра,

бьют по голове. Шея у меня была скрючена, грудь сдавило, но это было еще не самое плохое, у меня был песок во рту, я дышал песком.

Я слышал, как мальчишки бормочут:

Вставай, урод.

Гляньте на него, гляньте на него.

Ни хера не понимает.

Я перекатился на спину и вскинул руки к голове, но тут — аж тряхнуло нереальной легкостью — увидел, что рядом никого нет.

Я так ошалел, что какое-то время даже шевельнуться не мог. Где-то вдалеке, словно через вату, звенели сирены. Странно, конечно, но я был уверен, что лежу за глухим забором, во дворе заброшенной многоэтажки в нищем районе.

Меня хорошенько отделали: все тело болело, ребра ныли, а по голове как будто врезали свинцовой трубой. Я подвигал челюстью туда-сюда, залез в карманы проверить, есть ли деньги на обратный билет, и тут до меня дошло, что я и понятия не имею, где нахожусь. Я лежал, закостенев, и постепенно понимал: здесь что-то не так. Что-то случилось со светом и с воздухом тоже: он был едкий и острый, горло обжигало химическим паром. Жвачка у меня во рту была вся в песке и, когда я с гудящей головой перекатился, чтобы ее выплюнуть, понял, смаргивая густой дым, что вижу перед собой нечто настолько мне непонятное, что только и мог, что таращиться.

Я лежал в разбомбленной белой пещере. Под потолком покачивались провода и тряпки. Пол был вздыблен и вспучен кучами серого вещества, похожего на лунную пыль, припорошен битым стеклом, гравием и градом разного мусора, кирпичами, золой и обрывками бумаги, к которым, как первый иней, пристыл тонкий слой пепла. Наверху, над головой пыль прорезал свет пары ламп, словно два косых луча в тумане от фар покореженной машины: один задран вверх, второй свернут вбок, и от них расходятся кривые тени.

В ушах у меня звенело, как и во всем теле; острое, муторное чувство: кости, мозг, сердце — все гудело, как колокол после удара. Где-то далеко еле слышный механический визг сирен дребезжал все так же ровно и безлично. Я не мог разобраться, где источник звука — во мне или вне меня. Было сильное ощущение, что я один посреди зимней безжизненности. Куда бы я ни глядел, все было непонятно.

Обрушив водопады песка, ухватившись за не очень ровную поверхность, я поднялся, морщась от боли в голове. В самом пространстве, где я находился, было какое-то глубинное, вьвшееся искривление. С одной стороны висело недвижимое одеяло из дыма и пыли. С другой — на месте крыши или потолка свисал огромный ком раскромсанной материи.

У меня ныла челюсть, лицо и коленки были все в порезах, язык — как наждак. Моргая, оглядывая окружавший меня хаос, я увидел кроссовку, сугробы какого-то крошева, все в темных пятнах, перекрученный алюминиевый костыль. Я стоял посреди всего этого, пошатываясь — голова кружилась, я задыхался и не знал, куда идти и что делать, как вдруг мне показалось, что звонит телефон.

Сначала я думал, мне почудилось, я прислушался — и да, он снова звякнул: слабенько и тускло, немножко странно. Я принялся неуклюже копать в обломках — переворачивая пыльные детские рюкзачки и ланч-боксы, отдергивая руки от раскаленных кусков и осколков стекла, пугаясь того, как мусор то и дело проваливался у меня под ногами и еще — мягких, неподвижных бугров, которые я замечал краем глаза.

И даже после того, как я убедил себя, что не слышал никакого телефона, что это звон в

ушах я принял за звонок, я продолжал искать, замкнувшись в механических движениях с сосредоточенной тупостью робота. Из груды ручек, сумочек, бумажников, разбитых очков, гостиничных магнитных карт, пудр, пузырьков с духами и аптечных рецептов (Ройтман, Андреа, алпразолам, 25 мг) я выкопал брелок-фонарик и неработающий телефон (заряжен наполовину, сеть не показывает) и бросил его в нейлоновую сумку-раскладушку, которую я нашел в какой-то женской сумочке.

Я хватал воздух ртом, горло было забито пылью от штукатурки, и голова болела так, что я почти ничего не видел. Я хотел присесть, только сесть было некуда.

И тут я увидел бутылку воды. Взгляд рванулся туда, заметался по разгрому, пока снова не наткнулся на нее: метрах в пяти от меня, торчит из кучи мусора, этикетка еле виднеется, знакомый неживой оттенок синего.

Грузно, тяжело, будто проваливаясь в снег, я продирался и протискивался между обломков, мусор у меня под ногами ломался с резким, ледяным хрустом. Но, пройдя совсем немного, я краем глаза увидел, как на полу что-то движется, заметное посреди неподвижности, шевелится белое на белом.

Я остановился. Проволочился на пару шагов поближе. Там был человек, он лежал на спине, с ног до головы выбеленный пылью. Он был так хорошо запрятан посреди припорошенных пеплом обломков, что проступил не сразу: мелом из мела, пытаюсь сесть, будто статуя, сброшенная с пьедестала.

Подойдя поближе, я увидел, что он очень старый, очень subtilный — с изломанностью, присущей горбунам; от волос на голове почти ничего не осталось, одна сторона лица была заштрихована уродливой россыпью ожогов, а выше уха голова превратилась в липкую черную жуть.

Я добрался до него — неожиданно быстро, а он выбросил белую от пыли руку и вцепился в мою. Запаниковав, я рванулся назад, но он только крепче ухватил меня, все кашляя, кашляя.

Казалось, он хотел выговорить: где?.. Где?.. Он пытался взглянуть на меня, но его голова тяжело болталась на шее, а подбородок елозил по груди, поэтому он выглядывал на меня из-под бровей, как стервятник. Но глаза на обезображенном лице были умными, отчаявшимися.

— Боже... — сказал я, склонившись, чтобы помочь ему, — стойте, стойте, — и замер, не зная, что делать.

Нижняя часть его тела была перекручена, будто охапка грязной одежды.

Он обхватил себя руками, с виду — довольно бодро, губы у него по-прежнему шевелились, он все пытался встать. От него несло паленым волосом, паленой шерстью. Но нижняя часть его тела будто бы оторвалась от верхней. Он закашлялся и обмяк.

Я огляделся, попытался хоть как-то сориентироваться — слегка обезумев от удара по голове, я потерял все чувство времени, не понимал даже, день сейчас или ночь. Величие и разруха вокруг сбивали меня с толку — высь, ширь и воздух, прослоенные дымными полосами, полощутся на ветру смятым шатром вместо потолка или неба.

Но хоть я и не понимал, где я нахожусь — и почему я здесь, было что-то такое полузабытое во всех этих развалинах, кинематографическая осмысленность, высвеченная аварийными лампами. В интернете я видел как-то снимки взорванного в пустыне отеля, ячеистые комнаты в момент взрыва застыли точно в такой же вспышке света.

Тут я вспомнил про воду. Я сделал шаг назад, огляделся — сердце подпрыгнуло, когда я заметил пыльную вспышку синего.

— Слушайте, — сказал я, отходя назад, — я сейчас...

Старик глядел на меня одновременно и с надеждой, и безнадежно, как оголодавшая собака, которая так ослабела, что идти уже может.

— Нет... слушайте. Я вернусь.

На заплетающихся ногах, будто пьяный, я пробрался сквозь развалины — проталкиваясь, вворачиваясь вперед, высоко задирая ноги, волоча их по кирпичам, мимо тувель, сумочек и куч обугленных комков, в которые я не хотел всматриваться.

Бутылка была горячей на ощупь, воды в ней было на три четверти. Но с первого же глотка горло рванулось вперед, и я выхлебал больше половины теплой, отдающей пластиком и кухонной раковиной воды, пока, спохватившись, не заставил себя закрутить крышечку, положить бутылку в сумку и отнести воду старику.

Опустился рядом с ним на колени. В кожу впились камни. Он трясся, дышал неровно и с присвистом, глядел не на меня, а куда-то выше, сердито уставившись на что-то, чего я не видел.

Я нашаривал в сумке бутылку, когда он вытянул руку и коснулся моего лица. Осторожно, старыми костлявыми пальцами он отвел волосы у меня со лба, вытащил стеклянную занозу из брови и погладил меня по голове.

— Ну, ну...

Голос был очень слабый, очень скрипучий, очень приветливый, с ужасным легочным присвистом. Долгий странный миг, который я помню и по сей день, мы рассматривали друг друга, как два зверя, повстречавшихся в сумерках, — в его глазах вспыхнула ясная, дружеская искорка, и я увидел его ровно таким, каким он был, а он, хочется верить, разглядел меня. На мгновение мы сцепились вместе и загудели, будто два мотора в одной цепи.

Затем он откатился, обмякнув так, что я подумал — умер.

— Вот, — сказал я, неуклюже подсунув руку ему под плечи. — Это поможет.

Я как мог придержал его голову и дал попить из бутылки. Он выпил совсем немного, большая часть стекла по подбородку.

Снова рухнул на спину. Сил не хватает.

— Пиппа, — хрипло произнес он.

Я поглядел на его обожженное, покрасневшее лицо и встрепенулся от чего-то знакомого в его рыжеватых, ясных глазах. Я его раньше видел. И девочку тоже — мелькнул снимок с чистотой осеннего листа: брови цвета ржавчины, медово-коричневые глаза. В его лице отразилось ее лицо. Но где она?

Он пытался что-то сказать. Задвигались растрескавшиеся губы. Хотел узнать, где Пиппа. Присвистывал, ловил ртом воздух.

— Тихо, — сказал я, занервничав, — лежите, не двигайтесь.

— Пусть едет на метро, так быстрее. Если только ее не привезут на машине.

— Не волнуйтесь, — сказал я, наклонившись поближе. Я не волновался. Я был уверен, кто-нибудь вот-вот за нами придет. — Я их подожду.

— Так любезно. — Его рука (холодная, сухая, как пыль) сжала мою еще сильнее. — А я тебя и видел только маленьким мальчиком. Ты так вырос с нашего последнего разговора.

— Но я же Тео, — сказал я после немного неловкой паузы.

— Ну, конечно же, ты Тео. — Его взгляд, как и рукопожатие, был ровным, добрым. — И уверен, ты сделал наилучший выбор. Моцарт ведь куда приятнее Глюка, правда?

Я не знал, что ответить.

— Вам вдвоем будет полегче. Они так строги с детьми на прослушиваниях... — закашлялся. Губы залоснились от крови, густой, красной. — Никакого тебе права на ошибку.

— Послушайте... — Так нельзя, нельзя позволять ему думать, что перед ним кто-то другой.

— Но как же вы замечательно играли, мои милые, вы оба. Соль-мажор. Так и крутится у меня в голове. Легонько, легонько, чуточку небрежно...

Он промычал несколько бесформенных нот. Песня. Это песня.

— ...и я, наверное, тебе рассказывал, как брал уроки фортепиано у той старой армянки? Там в кадке с пальмой жила зеленая ящерица, зеленая как леденец, я так любил за ней наблюдать...мелькнет на подоконнике... фонарики в саду... *du pays saint*^[7]... двадцать минут пешком, а казалось — так далеко...

На минуту он отключился, я чувствовал, как его рассудок уплывает от меня, кружится, исчезая из виду, будто листок в ручье. Но тут его снова прибило к берегу, и он заговорил:

— А ты? Тебе сколько лет?

— Тринадцать.

— Во Французском лицее?

— Нет, моя школа в Вест-Сайде.

— И надо думать, к лучшему. Столько часов французского! Слишком много словарных слов для ребенка. *Nom et pronom*^[8], виды и филюмы. Еще один способ коллекционировать насекомых.

— Простите?

— У “Гроппи” всегда говорили по-французски. Помнишь “Гроппи”? Там, где полосатый зонтик и фисташковое мороженое?

Полосатый зонтик. Сквозь головную боль думалось с трудом. Мой взгляд упал на продольную рану у него на черепе, запекшуюся и темную, будто от удара топором. Все сильнее и сильнее вокруг проступали ужасные тела-формы, скрючившиеся посреди развалин, едва различимые горы черноты молчаливо обступали нас — везде тьма и тряпичные тела, и все же в эту тьму можно было уплыть, что-то в ней навевало сон, будто взбитый взрез воды, который пенится за кораблем и исчезает в холодном черном океане.

Что-то случилось, что-то плохое. Он очнулся, затряс меня. Зашлепал руками. Чего-то хотел. Пытался продавить свистящий вдох.

— Что такое? — спросил я, встряхнувшись. Он задыхался, трясся, тянул меня за руку. Я сел, испуганно огляделся в поисках какой-то новой опасности: упавшие провода, пожар, падающий потолок. Схватил меня за руку. Сжал крепко.

— Не здесь, — выговорил.

— Что?

— Не оставляй ее здесь. Нет, — он глядел мне за спину, пытаюсь указать на что-то. — Забери ее отсюда.

— Пожалуйста, лягте...

— Нет! Ее не должны увидеть! — Он заметался, вцепился мне в руку, пытаюсь подняться. — Они украли ковры, их заберут на таможенный склад...

Я увидел, что он указывает на пыльный картонный прямоугольник, почти невидимый посреди сломанных балок и мусора, по размеру — меньше моего ноутбука.

— Вот это? — спросил я приглядевшись. Прямоугольник был усажен восковыми кляксами, проштампован хаотичным мозаичным крошевом печатей. — Вам это нужно?

— Умоляю, — он крепко зажмурился. Распереживался, закашлялся так сильно, что едва мог говорить.

Я протянул руку и подобрал картонку за край. Она оказалась удивительно тяжелой для своих крошечных размеров. К одному ее краю пристала длинная щепка разломанной рамы.

Я провел рукавом по пыльной поверхности. Маленькая желтая птичка еле виднелась под завесой белой пыли. “Урок анатомии” был, кстати, в той же книжке, но его я боялась до трясушки.

Ясно, сонно отозвался я.

Я перевернул картину, чтобы показать ей, и тут понял, что ее тут нет.

Или — она и была здесь, и ее тут не было. Какая-то ее часть была здесь, невидимкой. Эта невидимая часть была самой важной. Именно этого я раньше никогда не понимал. Но когда я попытался произнести это вслух, слова перемешались во рту, и меня обдало холодом — это неверно. Обе части должны быть вместе. Нельзя, чтобы была одна часть, а другой не было.

Я потер лоб, попытался сморгнуть песок с ресниц и с огромнейшим усилием, будто выжимая непосильный для меня вес, попытался развернуть мысли в нужную сторону. Где моя мама? Вот нас было трое, одним из этих троих — это я точно знал — была моя мама. Но теперь нас только двое.

У меня за спиной старик принялся кашлять и дрожать с безудержной быстротой, пытаюсь сказать что-то. Обернувшись, я хотел было отдать ему картину:

— Вот, — сказал я ему, а затем матери — в том направлении, где она по идее должна была быть. — Иду, я сейчас!

Но ему была нужна не картина. Он раздраженно всучил мне ее обратно, лепеча что-то. Вся правая сторона его лица превратилась в липкую кровавую кашу, так что уха совсем не было видно.

— Что? — переспросил я, весь в мыслях о маме — да где же она? — Что, простите?

— Забери ее.

— Слушайте, я вернусь, мне нужно... — я никак не мог все точно припомнить, но мама велела мне идти домой, немедленно, мы там должны были встретиться, она мне сто раз говорила.

— Забери с собой, — сует мне картину. — Ну же!

Он пытался подняться. Глаза у него стали яркие, дикие, его метания меня пугали.

— Они украли все лампочки, на улице половину домов разнесли...

По подбородку у него бежала струйка крови.

— Пожалуйста, — сказал я, отдергивая руки, боясь до него дотронуться, — пожалуйста, лягте...

Он помотал головой и попытался что-то сказать, но от усилия рухнул на спину, задергавшись с влажным, жалким звуком. Когда он вытер рот, я увидел на тыльной стороне его ладони яркую полоску крови.

— Кто-то идет, — сказал я, сам не слишком в это веря, но не зная, что еще сказать.

Он поглядел мне прямо в лицо в поисках хоть какой-то искорки понимания, а когда не нашел, снова зацарапал меня, пытаюсь встать.

— Пожар, — пробулькал он. — Вилла в Ма’ади. *On a tout perdu*^[9].

Он снова забился в кашле. У ноздрей запузырилась красноватая пена. Посреди всей этой нереальности, наваленных камней и разбитых плит, меня вдруг, как во сне, пронзило

чувство, что я его подвел, как будто бы провалил какое-то важное задание в сказке по собственной глупости и неуклюжести. Я отполз в сторону и засунул картину в нейлоновую сумку, чтобы убрать с глаз долой то, что его так расстраивало.

— Не волнуйтесь, — сказал я. — Я...

Он успокоился. Положил руку мне на запястье, взгляд — яркий, ровный, и меня снова обдало ледяным ветром безумия. Я сделал то, что должен был. Все будет хорошо.

От уюта этой мысли я размяк, а старик ободряюще сжал мне руку, будто бы я сказал вслух то, что думал.

— Мы отсюда выберемся, — сказал он.

— Знаю.

— Заверни ее в газеты и положи на самое дно чемодана. К остальным диковинкам.

Радуюсь, что он успокоился, и обессилев от головной боли — все воспоминания о маме угасли до светлячков-вспышек, я улегся рядом с ним и закрыл глаза, чувствуя себя до странного уютно и безопасно. Далеко, во сне. Старик немного бредил, бормотал еле слышно: иностранные имена, суммы и цифры, кое-что по-французски, но в основном говорил по-английски. Кто-то зайдет взглянуть на мебель. Абду швырялся камнями, ему теперь попадет. И все равно, казалось, что так и надо, и я видел садик с пальмами, пианино, зеленую ящерицу на стволе дерева — будто карточки в фотоальбоме.

— А ты, милый, доберешься ли домой один? — помню, спросил он вдруг.

— Конечно. — Я лежал на полу возле него, голова — около его подрагивающей грудной клетки, поэтому я слышал каждый его вдох и присвист. — Я каждый день один езжу на метро.

— А где, ты говорил, ты сейчас живешь?

Он положил руку мне на голову, очень нежно, так кладут руку на голову собаке, которую любят.

— На Восточной Пятьдесят седьмой улице.

— Ах да! Это возле *Le Veau d'Or*?

— Ну-у, в паре кварталов.

Le Veau d'Or — так назывался ресторан, куда любила ходить мама в те времена, когда у нас еще были деньги. Там я впервые съел улитку и впервые попробовал *Marc de Bourgogne*^[10] — отхлебнул из маминого бокала.

— Это в сторону Парка?

— Нет, туда, ближе к реке.

— Очень даже близко, милый. Меренги и икра. Как же я влюбился в этот город, когда впервые его увидел. А сейчас он уже не тот, правда? Я по нему ужасно скучаю, а ты? Балкончик и ...

— Сад. — Я повернулся, чтобы взглянуть на него.

Ароматы и звуки. В зыби смятения мне вдруг почудилось, что это какой-то наш близкий друг или родственник, о котором я просто позабыл, какая-то далекая мамина родня...

— Ах, твоя мама! Такая милочка! Никогда не забуду, как она в первый раз пришла играть. Прелестнее девочки я не видел.

Откуда он узнал, что я о ней думаю? Я хотел было спросить, но он уже заснул. Глаза закрыл, а дыхание — быстрое и хрипкое, будто убегает от кого-то.

Я и сам отключался — в ушах звенело, глухой гул и металлический привкус во рту, будто в кресле у зубного, — я и вырубился бы, наверное, и так и остался лежать без сознания, если

б он не принялся трясти меня, так грубо, что очнулся я с рывком паники. Он бормотал что-то и тянул себя за указательный палец. Он стянул кольцо, тяжелое золотое кольцо с резным камнем, и хотел отдать его мне.

— Слушайте, не надо мне этого, — сказал я, отшатнувшись. — Это вы зачем еще?

Но он втиснул кольцо мне в ладонь. Дыхание у него было булькающим, страшным.

— Хобарт и Блэквелл, — произнес он так, будто захлебываясь изнутри. — Позвони в зеленый звонок.

— В зеленый звонок, — неуверенно повторил я.

Он покатал голову туда-сюда, как после нокаута, губы у него тряслись. Глаза были мутные. Когда он скользнул по мне взглядом, не видя меня, я поежился.

— Скажи Хоби, пусть уходит из магазина, — хрипло сказал он.

Не понимая, что вижу, я глядел, как из уголка его рта сочится струйка крови. Он ослабил галстук, подергав за узел.

— Сейчас, — сказал я, потянувшись, чтобы ему помочь, но он оттолкнул мои руки.

— Пусть закрывает кассу и уходит! — проскрежетал он. — Его отец послал парней, чтоб его отделали.

Глаза у него закатились, веки дрожали. Затем он провалился в себя, обмяк, сплющился, будто из него вышел весь воздух — тридцать секунд, сорок, будто охапка старой одежды, но вдруг, так резко, что я дернулся — его грудь вздулась со свистом кузнечных мехов, и он схаркнул звучный стук крови, забрызгав меня всего.

Напрягшись изо всех сил, он приподнялся на локтях и где-то с полминуты пыхтел, как собака, грудь неистово колотится, вверх-вниз, вверх-вниз, взгляд застыл на чем-то, чего я не вижу, и он все цепляется за мою руку, словно, если ухватит как следует, то с ним будет все в порядке.

— Вы как? — спросил я, разволновавшись, чуть не плача. — Вы меня слышите?

Пока он хватался за меня и дергался, будто рыба, вытщенная из воды, я придерживал его голову, не зная, как правильно, боясь сделать ему еще хуже, а он все это время цеплялся за мою руку так, будто болтается над пропастью и вот-вот рухнет вниз. Каждый его вздох был отдельным, булькающим рывком, тяжелым камнем, который он с огромным трудом отрывал от земли и ронял обратно, снова и снова. Однажды он даже взглянул прямо мне в глаза, изо рта у него хлынула кровь, он попытался что-то сказать, но слова только прожурчали у него по подбородку.

И тут — к моему невероятному облегчению — он притих, успокоился, ослабил хватку, размяк — казалось, будто он тонет, кружится, уплывает от меня, покачиваясь на воде.

— Лучше? — спросил я, и тут...

Я осторожно капнул водой ему на губы — они задвигались, зашевелились, а потом, стоя на коленях, будто мальчик-слуга в книжке, я отер кровь с его лица платком в “огурцах”, который нашел у него в кармане. И пока он дрейфовал — с жестокой долготой и широтой — к спокойствию, я раскачивался на коленях и во все глаза глядел на его изувеченное лицо.

— Эй? — сказал я.

Одно бумажное веко, задернуто наполовину, дрожат тиком голубые вены.

— Если слышите меня, сожмите мне руку.

Но его рука обмякла в моей. Я сидел и смотрел на него, не зная, что делать. Пора было идти, давно пора — мама строго-настрого велела, — но я никак не видел выхода из этого места, и, если честно, о том, что можно быть где-то еще, думалось как-то с трудом — о том,

что за пределами этого был какой-то другой мир. Казалось, будто у меня никогда и не было никакой другой жизни.

— Вы меня слышите? — в последний раз спросил я старика, нагнувшись и приложив ухо к его окровавленному рту.

В ответ — ничего.

6.

Боясь его побеспокоить — вдруг он просто уснул, — я тихонько встал. Все тело у меня болело. Несколько секунд я стоял и глядел на него, вытирая руки о школьный пиджак — я был весь в его крови, от нее руки стали липкие, — а затем оглянулся на лунный пейзаж развалин, пытаюсь сориентироваться и понять, куда идти.

Когда я с большим трудом добрался до середины комнаты, ну или того, что казалось ее серединой, то увидел, что одна дверь зашторена завесой из обломков, развернулся и стал пробираться в противоположную сторону.

Там, где рухнула притолока, обвалив кучу кирпичей с меня ростом, образовалась дымящаяся дыра, такая огромная, что машина проедет. Я изо всех сил стал карабкаться и лезть к ней — вверх, по кускам бетона, — но не успел высоко забраться, когда понял, что придется искать другой выход. Слабые блики огня лизали вдаль стены того, что когда-то было сувенирным магазином, потрескивая и посверкивая в дыму, кое-где — гораздо ниже того, где по идее должен был быть пол.

К другой двери меня совсем не тянуло (мягкая пористая плитка заляпана красным, из-под кучи щебня высовывается носок мужской туфли), но по меньшей мере обломки, которыми она была завалена, выглядели не слишком тяжелыми. На ощупь я пробрался назад, ныряя под искрившими проводами, которые свешивались с потолка, вскинул сумку на плечо, глубоко вздохнул и окунулся в разгром.

И сразу же чуть не задохнулся от пыли и острой химической вони. Кашляя, молясь, чтобы там только не оказалось еще висящих проводов под напряжением, я шарил руками в темноте, а в глаза мне лез и сыпался мусор: щебень, ломти штукатурки, обрывки и куски бог знает чего.

Какие-то обломки были легкими, какие-то не очень. Чем дальше я протискивался, тем становилось темнее — и жарче. Проход то и дело сужался или неожиданно обрывался, а в ушах у меня стоял рев толпы, и я не понимал, откуда он мог взяться. Постоянно приходилось протискиваться, иногда я выпрямлялся, иногда полз, чаще чувствуя, чем видя тела под завалами — отвратительная мягкость, которая проваливалась под моим весом, хотя запах был еще хуже этого: горелой одежды, горелых волос и плоти с резкой нотой свежей крови — медной, жестяной, соленой.

Руки у меня были в порезах, колени тоже. Я подныривал и обходил, нащупывая дорогу перед собой, протискиваясь вдоль какой-то длинной доски или балки, пока не наткнулся на прочное препятствие, похожее на стену. С трудом — проход был узким — я развернулся, чтобы достать из сумки фонарик.

Я искал брелок, он лежал на самом дне, вместе с картиной, но пальцы нащупали телефон. Я включил его, но тут же выронил, потому что он высветил мужскую руку, торчавшую между двумя гранитными плитами. Помню, что даже тогда к ужасу

примешивалась благодарность за то, что это была всего лишь рука, хотя вид ее пальцев — мясистых, вздувшихся — я не могу забыть и по сей день и вздрагиваю от страха, когда на улице какой-нибудь нищий тянет ко мне такую же руку, распухшую, с окаймленными черным ногтями.

Можно было взять и фонарик, но теперь я хотел телефон. Он подсвечивал слабым мерцанием нишу, в которой я сидел, но только я пришел в себя и нагнулся за ним, как экран погас. В темноте в глазах поплыл кислотно-зеленый отсвет. Я опустился на колени и зашарил впотьмах руками, хватаясь за камни и стекло, желая во что бы то ни стало найти телефон.

Когда мне было года четыре, я застрял в откидной кровати в нашей старой квартире на Седьмой авеню: звучит как начало смешной истории, но смешного там ничего не было; я бы, наверное, задохнулся, если бы Аламеда, наша тогдашняя домработница, не услышала моих сдавленных криков и не вытащила меня оттуда.

Примерно так же я чувствовал себя, вертясь в этом душном пространстве, даже хуже: тут еще было стекло, вонь сгоревшей одежды, и иногда я утыкался во что-то мягкое, о чем даже думать не хотел. Мусор валил на меня ливнем, рот был забит пылью, я надрывался от кашля и уже было запаниковал, когда понял, что различаю, самую малость, грубую поверхность окружающих меня кирпичей. Свет, лучик — слабее не придумаешь — тихонько вкрался слева, сантиметров на пятнадцать от пола.

Я пригнулся еще сильнее и понял, что вижу перед собой темный мозаичный пол соседней галереи. На полу была в беспорядке свалена огромная куча спасательного оборудования (веревки, топоры, ломы, баллон с кислородом, на котором было написано *FDNY*^[11]).

— Э-эй! — позвал я и, не дожидаясь ответа, упал плашмя и стал быстро-быстро протискиваться в дыру.

Проход был узким, будь я на пару лет постарше или на пару кило потолще, мог бы и не пролезть. По пути сумка за что-то зацепилась, и я даже думал, что картина картиной, а придется ее скинуть, словно ящерице хвост, но потом дернул еще разок, и она наконец поддалась, осыпав меня дождем штукатурки. Надо мной была балка, которая подпирала, похоже, тонну тяжелого строительного материала, я выкручивался и выворачивался под ней, а в голове все плыло от страха — вот она соскользнет и перебьет меня надвое, но потом я заметил, что кто-то подпер ее домкратом.

Выбравшись, я встал на ноги — вялый, заторможенный.

— Эй! — снова позвал я, недоумевая, отчего вокруг столько инструментов, но ни одного пожарного.

Галерея была в чаду, но почти не разрушена — ажурные слои дыма загустевали, поднимаясь к потолку, но по лампам и камерам наблюдения, которые перекошились от взрыва и глядели в потолок, было видно, что по комнате пронеслась какая-то разрушительная сила. Я был так рад снова очутиться на открытом пространстве, что не сразу заметил, как странно, что в комнате, полной народу, я один — стою. Все остальные лежали на полу.

Там было как минимум человек десять, не все — целиком. Казалось, будто их всех сбросили с огромной высоты. Три-четыре тела были частично прикрыты куртками пожарных, так что торчали только ноги. Остальные беззастенчиво, открыто распластаны посреди подпалин. В пятнах и потеках плескалось насилие, будто в огромном, кровавом

“Апчхи!” — истерическое ощущение движения посреди бездвижности. Я особенно запомнил одну даму средних лет, в забрызганной кровью блузке с узором из яиц Фаберже — такую она могла бы купить тут же, в сувенирной лавке при музее. Ее глаза, подведенные черным, пусто глядели в потолок, а загар она, похоже, распылила на себя из баллончика, потому что кожа у нее сияла здоровым персиковым цветом даже после того, как ей снесло полголовы.

Сумрачные холсты, потускневшая позолота. Мелкими шажками я пробрался на середину комнаты, покачиваясь, слегка теряя равновесие. Я слышал скрежет собственного дыхания — вдох-выдох, странная гулкость в звуке, легкость ночного кошмара. Я и не хотел смотреть, и не мог оторвать взгляд. Миниатюрный азиат, такой жалкий в своей бурой ветровке, свернулся калачиком в расплывшейся луже крови. Охранник (опознавалась только униформа, лицо сожжено начисто) с завернутой за спину рукой, вместо ноги — жестокое месиво.

Но самое главное, самое важное — никто из лежавших там людей не был ею. Я заставил себя посмотреть на них всех, на каждого по отдельности, на одного за другим — даже когда я не мог заставить себя глядеть на их лица, я ведь всегда бы узнал ноги матери, ее двухцветные черно-белые туфли, — и еще долго после того, как я все проверил, я заставлял себя стоять посреди них, съезжившись внутри, будто больной голубь с закрытыми глазами.

В следующей галерее еще трупы. Трое мертвых. Толстяк в шотландском жакете, израненная старушка, маленькая девочка — беленький утенок, на виске красная отметина, а так — на теле ни царапины. И все, больше никого. Я прошел сквозь несколько галерей, все они были завалены инструментами, но мертвых больше не было, только пятна крови на полу. И затем я вошел в казавшуюся такой далекой галерею, где была она, куда она ушла, в галерею, где висел “Урок анатомии” — зажмурившись, загадывая, — но там были все те же носилки и инструменты, и пока я шел в до странного звенящей тишине, за мной следили только двое удивленных голландцев, те же, что пилились на нас с мамой со стены: а вы что здесь делаете?

Тут что-то оборвалось. Не помню даже, как все произошло, я просто очутился совсем в другом месте — бежал, бежал сквозь пустые залы, где не было ничего, кроме дымного тумана, который делал величие здания бесплотным, нереальным. До того все галереи казались мне довольно понятными: извилистый, но логичный путь, все ответвления которого сливались в сувенирном магазине. Но когда я мчался сквозь них назад, в противоположную сторону, то понял, что путь этот вовсе не логичен; снова и снова я утыкался в глухие стены и заворачивал в тупики. Двери и проходы были вовсе не там, где я их искал; вдруг из ниоткуда выплывали стойки-указатели. Слишком резко завернув за угол, я чуть не врезался в толпу хальсовых офицеров: крупных, крепких, краснощеких парней, подрасплывшихся от того, что перебрали с пивом, точь-в-точь нью-йоркские полицейские на костюмированной вечеринке. Они холодно глядели на меня сверху вниз, пристально и иронично, и я опомнился, попятился назад и снова рванул с места.

Даже в обычные дни я иногда терялся в музее (бесцельно блуждая по галереям с искусством народов Океании, тотемами и долблеными каноэ) и иногда вынужден был спрашивать у охранника дорогу к выходу. Особенно легко было заблудиться в галереях с живописью — картины постоянно меняли местами, и пока я описывал круги по пустым залам в призрачной полутьме, меня все сильнее охватывал страх. Мне казалось, я знаю, как выйти к главной лестнице, но стоило мне покинуть залы с выставками, как все вокруг стало незнакомым, и, побегав с кружащейся головой по коридорам, которых я не помнил, я понял,

что основательно заблудился. Каким-то образом я проскочил через шедевры итальянской живописи (распятые Христы и ошеломленные святые, змеи и воинственные ангелы) к искусству Англии XVIII века, в ту часть музея, где я бывал редко и которой совсем не знал. Вид передо мной растягивался в длинные элегантные линии, лабиринтообразные коридоры, которые наводили на мысли о домах с привидениями: лорды в напудренных париках и равнодушные красавицы Гейнсборо надменно взирали со стен на мое несчастье. Величественные панорамы приводили меня в бешенство, потому что, судя по всему, не вели ни к каким лестницам или проходам, а только к другим таким же важно-величественным галереям; и я уже был готов расплакаться, когда вдруг увидел неприметную дверь в стене.

К ней нужно было присматриваться, к этой двери, она была выкрашена в тот же цвет, что и стены галереи, это была такая дверь, которую в нормальных обстоятельствах всегда держат закрытой. Я и заметил-то ее только потому, что она не была плотно прикрыта — левая ее сторона отошла от стены, то ли потому, что не захлопнулась до конца, то ли потому, что из-за вырубленного электричества не сработал замок, кто знает. Но все равно, открыть ее было непросто — дверь была тяжелая, стальная, тянуть пришлось изо всех сил. И вдруг — с пневматическим всхлипом — она подалась так неожиданно, что я чуть не упал.

Протиснувшись в дверь, я очутился в темном офисном коридоре, потолок здесь был заметно ниже. Аварийное освещение было тусклое, не как в главной галерее, пришлось ждать, пока привыкнут глаза.

Коридор, казалось, тянулся на километры вперед. Я боязливо крался по нему, заглядывая в кабинеты с распахнутыми дверьми. *Камерон Гайслер, архивариус. Мийяко Фудзита, помощник архивариуса.* Выдвинутые ящики, отставленные стулья. На пороге одного кабинета валялась на боку женская туфля на шпильке.

Чувство заброшенности было невыразимо жутким. Кажется, откуда-то издалека до меня доносились полицейские сирены, вроде бы даже переговоры по рации и собачий лай, но в ушах у меня так звенело от взрыва, что мне это все могло и просто чудиться. Меня все сильнее пугало то, что я не встретил ни пожарных, ни полицейских, ни охранников — вообще ни одной живой души.

Для брелока-фонарика в коридоре, куда посторонним вход воспрещен, было слишком светло, но для меня — слишком темно. Я попал на какой-то склад или в архив. В кабинетах от пола до потолка картотечные шкафы и металлические полки с пластиковыми контейнерами и картонными коробками. В узком коридоре я чувствовал себя, как в западне, и эхо от моих шагов было таким оглушительным, что пару раз я даже останавливался и проверял, не идет ли кто позади.

— Простите? — иногда робко выкрикивал я, заглядывая в комнаты, мимо которых проходил. Одни кабинеты были просторными и современными, другие — тесными и неприбранными, с наваленными в беспорядке стопками бумаг и книг.

Флоренс Клаунер, отдел музыкальных инструментов. Морис Ораби-Руссель, искусство ислама. Виттория Габетти, ткани. Я прошел через пещероподобную темную комнату с длинными столами, на которых, будто кусочки головоломки, были разложены разномастные лоскуты. В самом конце ее сгрудилась куча передвижных вешалок, с которых свисали охапки пластиковых чехлов для одежды — такие же вешалки стояли возле служебных лифтов в “Бергдорфе” или “Бенделе”.

Дойдя до развилки, я глянул в одну сторону, в другую, не зная, куда свернуть. Пахло воском для натирки полов, скипидаром и чем-то химическим, с примесью дыма. Кабинеты и

мастерские тянулись до бесконечности во всех направлениях: сжатая графичная сетка — застывшая, безлика.

С левой стороны искрила лампа под потолком. Свет гудел, застряв в статической петле, и в его мерцании я разглядел питьевой фонтанчик в другом конце коридора.

Я бросился к нему — так быстро, что чуть не поскользнулся — и, вжавшись ртом в краник, принялся глотать воду — очень много ледяной воды, очень быстро, так что в висок шипом воткнулась боль. Икая, я смыл кровь с рук и поплескал водой в воспаленные глаза. Крохотные осколки стекла, почти невидимые, зазвякали о стальную чашу фонтанчика, будто ледяные иголки.

Я прислонился к стене. От гудков и потрескиваний флуоресцентных ламп над головой меня замутило. С усилием я отлип от стены, опять пошел, пошатываясь под неуверенным мерцанием. Здесь все выглядело куда более техническим: деревянные поддоны, плоские приземистые тележки, призраки предметов в коробках, которые поднимают, складывают. Я дошел еще до одной развилки, где пропадал в темноте неприметный, сумрачный коридор, и уже было прошел мимо, дальше, как вдруг увидел, что в самом его конце горит красным табличка ВЫХОД.

Я споткнулся, шлепнулся, снова вскочил, все еще икая, и помчался по бесконечному коридору. Он оканчивался дверью с металлической перекладиной, как на дверях у нас в школе.

Гавкнув, дверь подалась. Я помчался вниз по темной лестнице, двенадцать ступенек, поворот на площадке, еще двенадцать ступенек вниз, пальцы скользят по металлу перил, от грохота ботинок такое сумасшедшее эхо, что кажется, будто за мной бегут еще человек пять. Лестница переходила в серый казенный коридор, в конце которого — очередная дверь с перекладиной. Я врезался в нее, толкнул обеими руками — и в лицо мне ударил дождь и оглушительный вой сирен.

По-моему, я даже заорал в голос, так рад я был тому, что выбрался, хотя в таком шуме меня никто не услышал: с таким же успехом можно было пытаться в шторм перекричать моторы самолетов на взлетных полосах Ла Гуардии. Казалось, будто все пожарные машины, все полицейские авто, все скорые, все аварийки из всех пяти округов и еще из Джерси, завывали и трезвонили по всей Пятой авеню: исступленно-счастливый грохот, будто рванули разом все фейерверки в честь Нового года, Рождества и Дня независимости.

Дверь выплонула меня к Центральному парку, через пустынный служебный вход между грузовой эстакадой и въездом на парковку. В серо-зеленой дали виднелись пустые тропинки, упиравшиеся в белесое небо макушки деревьев вскипали и вскидывались на ветру. Еще дальше, до залитых дождем улиц, Пятая авеню была перекрыта. Со своего места сквозь ливень я различал только бесконечное яркое мельтешение движений: краны и тяжелое оборудование, полицейские сдерживают толпу, красные огоньки, синие огоньки и желтые, вспышки, которые бьются, крутятся и мигают ртутной чехардой.

Я вскинул локоть, чтобы закрыть лицо от дождя и побежал через пустой парк. Дождь хлестал в глаза, стекал по лбу, размывая огни авеню в пульсировавшие вдалеке кляксы.

Полиция, пожарные, припаркованные машины городских служб с включенными дворниками: К-9, Служба спасения, Ликвидация техногенных катастроф. Развеваются, хлопают на ветру черные дождевики. Через выход из парка — Ворота Шахтера — растянута желтая лента “место преступления”. Не задумываясь, я нырнул под ленту и бросился в толпу.

В суматохе никто и не обратил на меня внимания. Минуту или две я бегал туда-сюда по

улице, а в лицо мне сыпало дождем. Куда бы я ни взглянул, наткнулся на отражения собственной паники. Вокруг меня слепо тыкались, вертелись люди: полицейские, пожарные, мужики в касках, пожилой мужчина держится за сломанный локоть, полицейский рассеянно подталкивает женщину с разбитым носом в направлении Семьдесят девятой улицы.

Я никогда не видел столько пожарных машин сразу: 18-я бригада, “Команда 44”, 7-й спасательный отряд Нью-Йорка, 1-й спасательный, 4-й спасательный. Протолкавшись сквозь море припаркованных машин и официальных черных дождевиков, я заметил скорую клиники “Хацола”: надписи на иврите на боку, за открытыми дверями виднеется маленькая ярко освещенная больничная палата. Санитары пытались уложить женщину, которая все порывалась сесть. Морщинистая рука с красными ногтями царапала воздух.

Я застучал по дверце кулаком:

— Вам нужно туда, обратно! — вопил я. — Там люди остались!..

— Там еще одна бомба! — проорал в ответ санитар, даже не взглянув на меня. — Нужно эвакуироваться!

Не успел я и понять, что он говорит, как огромный коп обрушился на меня, как раскат грома: туповатого вида, с бульдожьим лицом и бугристыми, будто у штангиста, руками. Он грубо схватил меня за руку и принялся выталкивать на другую сторону улицы.

— Ты тут какого хера? — заорал он, перекрывая мои протесты, пока я пытался вывернуться.

— Сэр, — женщина с окровавленным лицом попыталась привлечь его внимание, — сэр, у меня, кажется, рука сломана...

— Отойти от здания! — завопил он, оттолкнув ее руку, а после — мне: — Пошел!

— Но...

Он так сильно толкнул меня обеими руками, что я пошатнулся и чуть не упал.

— ОТОЙТИ ОТ ЗДАНИЯ! — проорал он, вскидывая руки с хлопком дождевика. — ЖИВО!

Он даже не глядел на меня, его маленькие медвежьи глазки сомкнулись на чем-то у меня над головой, выше по улице, и выражение его лица перепугало меня до смерти.

Я поспешно стал проталкиваться сквозь толпы спасателей к тротуару на другой стороне улицы, как раз перед Семьдесят девятой — выискивая маму и не находя ее. Столпотворение машин скорой помощи и неотложек: Скорая помощь Медцентра Бет-Израиль, больница Ленокс-Хилл, Пресвитерианская больница, Медцентр Кабрини. Окровавленный человек в деловом костюме лежал навзничь возле декоративной тисовой изгороди, в крошечном дворике перед домом на Пятой авеню. Натянутая желтая лента хлопала и шелкала на ветру, но промокшие насквозь копы, пожарные и мужики в касках поднимали ее и подныривали под ней туда-сюда, как будто бы ее там и не было.

И все то и дело поглядывали в сторону Северного Манхэттена, и я только позже узнал почему: на Сорок восьмой улице (слишком далеко, чтобы я мог что-то разглядеть) саперы при помощи водяных пушек “обезвреживали” бомбу, которая не сдетонировала. Я рвался с кем-нибудь поговорить, узнать, что происходит, и хотел было пролезть к пожарным машинам, но копы металась в толпе, размахивали руками, хлопали в ладони, теснили людей.

Я схватил за куртку какого-то пожарного — молодой парень, со жвачкой за щекой, выглядит приветливо.

— Там остались люди! — прокричал я.

— Да, да, мы знаем! — крикнул он в ответ, даже не оглянувшись. — Нам велели

убраться. Говорят, пять минут, потом опять запустят.

Резкий толчок в спину.

— Назад, назад!

Я услышал чей-то крик.

Грубый голос с сильным акцентом:

— Руки убери!

— БЫСТРО! Все назад!

Еще кто-то пихнул меня в спину. Пожарные свесились с лестниц, глядят в сторону Храма Дендур, копы напряженно стоят плечом к плечу, не обращая внимания на дождь. Меня несло мимо них течением, я спотыкался и видел остекленевшие глаза, мотающиеся головы, ноги, которые бессознательно отстукивали обратный отсчет.

Когда я услышал треск обезвреженной бомбы и с Пятой авеню взметнулось хриплое болельщицкое “Ура!”, меня уже основательно снесло в сторону Мэдисон. Копы-регулирующие по-мельничному вертели руками, отодвигая все дальше поток ошеломленных людей.

— Давайте, ребята, давайте, назад!

Они вгрызались в толпу, похлопывая в ладоши.

— Восточнее, смещаемся восточнее.

Один коп, с эспаньолкой и сережкой в ухе, похожий на спортсмена-борца, вытянул руку и пихнул курьера в толстовке с капюшоном, который пытался делать снимки на телефон, тот налетел на меня и чуть не сбил с ног.

— Ты потише! — взвизгнул курьер высоким противным голосом, и коп снова пихнул его, на этот раз так сильно, что тот упал в грязь на спину.

— Парень, ты что оглох? — проорал коп. — Ногами шевели!

— Не трогай меня!

— А в морду не хочешь?

Между Пятой и Мэдисон творился настоящий дурдом. Стрекот вертолетов в небе, вдалеке кто-то бубнит в мегафон. Движение по Семьдесят девятой улице перекрыли, но она вся была забита полицейскими машинами, пожарными грузовиками, аварийными заграждениями и толпами кричащих, истерящих, мокрых насквозь людей. Кто-то пытался выбежать с Пятой авеню, кто-то — прорваться обратно к музею, одни вскидывали мобильники, пытаясь фотографировать, другие неподвижно стояли посреди людского потока, раскрыв рты и уставившись на черный дым в дождливом небе над Пятой, будто это марсиане прилетели.

Сирены, из вентиляционных люков подземки валит белый дым. Завернутый в грязное одеяло бездомный бродит туда-сюда, оглядывается по сторонам с любопытством, замешательством. Я с надеждой высматривал в толпе маму и какое-то время даже пытался плыть против регулируемой копами толпы (встав на цыпочки, вытянув шею), пока не понял, что пробиваться назад и искать ее в толпе под проливным дождем — бесполезно.

Она ждет меня дома, подумал я. Дома мы и должны были встретиться, уговор был идти домой, если что-то случится, наверное, она поняла, что меня без толку искать в такой давке. Но все равно меня кольнуло мелочным, дурацким разочарованием, и пока я шел домой (голова разламывается от боли, в глазах двоится), я все искал ее, вглядываясь в окружавшие меня безымянные хмурые лица. Самое важное — она выбралась. Она была в тыщу залов от самых сильных разрушений. Среди трупов ее не было. Но о чем бы ни договорились заранее

и каким бы логичным это все ни казалось, я все-таки не мог до конца поверить, что она ушла из музея без меня.

Глава вторая

Урок анатомии

В детстве, когда мне было лет пять, больше всего на свете я боялся, что мама однажды не вернется домой с работы. Сложение и вычитание нужны мне были в основном, чтобы отслеживать ее передвижения (сколько еще минут до ее выхода из офиса? Сколько минут от офиса до входа в метро?); еще не умея считать, я что было сил старался понять время на часах и прилежно вглядывался в таинственный круг, нарисованный карандашом на картонной тарелке: стоит его разгадать, и мне откроется ритм ее приходов и уходов. Обычно она возвращалась ровно тогда, когда обещала, поэтому, если она задерживалась хотя бы минут на десять, я начинал дергаться, еще дольше — и я усаживался на пол возле входной двери, будто позабытый всеми щенок, и напряженно вслушивался — не загрохочет ли лифт на нашем этаже.

В младших классах я почти каждый день переживал из-за каких-нибудь новостей по 7-му каналу. А что если она будет ждать шестичасовой электрички, а какой-нибудь бомж в грязном камуфляже спихнет ее на рельсы? Или захочет отобрать у нее сумочку, затащит в темную подворотню и зарежет? Что если она уронит фен в ванну, или в нее врежется велосипедист и она вылетит прямо под колеса машины, или ей дадут у зубного не то лекарство и она умрет, как это было с матерью одного моего одноклассника?

Думать о том, что с мамой может что-то случиться, было особенно страшно еще и потому, что отец был таким ненадежным. *Ненадежным* — это еще мягко сказано. Даже в хорошие дни он мог, например, потерять чек с зарплатой или напиться и заснуть, оставив в квартире дверь нараспашку. А уж если он был в плохом настроении — то есть почти всегда, — ходил встрепанный, красноглазый, в таком мятом костюме, будто он в нем катался по полу, и источал такую нечеловеческую застылость, словно какой-то предмет под давлением, который вот-вот взорвется.

Хоть я и не понимал, отчего он так несчастлив, было совершенно ясно — во всех его несчастьях виноваты мы. Мы с мамой действовали ему на нервы. Это из-за нас он ходил на работу, которую терпеть не мог. Его раздражало каждое наше действие. Меня он особенно не переносил, хотя не сказать, чтоб он вообще проводил со мной много времени: по утрам, пока я собирался в школу, он — молчаливый, с набрякшими веками — сидел за чашкой кофе, разложив перед собой “Уолл-стрит джорнэл”: халат распахнут, волосы торчат вихрами, руки иногда так трясутся, что пока донесет чашку до рта — весь кофе расплещет. Едва я входил, он принимался напряженно следить за мной, раздувая ноздри, стоило мне громыхнуть приборами или миской с хлопьями.

Если не считать этих ежеутренних неловкостей, виделись мы нечасто. Мы не ужинали вместе, он не ходил на школьные собрания, не играл со мной и почти не разговаривал — по правде сказать, он и дома-то чаще всего появлялся, когда я уже спал, иногда — особенно по пятницам и после зарплаты — заваливался не раньше трех-четырех утра: хлопая дверьми, роняя портфель, производя столько беспорядочного шума и грохота, что я, вздрагивая от ужаса, просыпался, таращился в мерцающие на потолке созвездия от ночника-планетария и гадал, не вломился ли к нам убийца. К счастью, когда он напивался, то волочил ноги с узнаваемой диссонансной дробью — я звал это “поступью Франкенштейна”: шаги были грозными, тяжелыми, паузы между ними — до абсурдного долгими, и как только я понимал,

что это никакой не маньяк или психопат, а всего-навсего отец топчет в темноте, то проваливался обратно в тревожный сон. На следующий день, в субботу, мы с мамой старались сбежать из дома до того, как отец — скрутившись, в испарине — проспится на диване. Если не получалось, мы целый день ходили на цыпочках, боясь хлопнуть дверью или еще как-то его потревожить, пока он с каменным лицом сидел перед телевизором с бутылкой китайского пива, взятого навынос, и остекленело смотрел с выключенным звуком спорт или новости.

Поэтому мы с мамой не слишком встревожились, проснувшись как-то субботним утром и обнаружив, что он и не приходил домой. Слегка забеспокоились мы только в воскресенье, да и то беспокойством это было назвать сложно: в колледжах начался футбольный сезон, он, скорее всего, поставил на игру и, не предупредив нас, умотал на автобусе в Атлантик-Сити. И только на следующий день, когда секретарша отца, Лоретта, позвонила нам, потому что он не явился на работу, до нас стало доходить: что-то случилось. Мама, боясь, что его ограбили или убили в пьяной драке, позвонила в полицию, и несколько дней мы напряженно ждали звонка или стука в дверь. Наконец, уже под выходные, от отца пришло невнятное письмо (со штемпелем Ньюарка, штат Нью-Джерси), в котором он раздраженными каракулями сообщал, что отбыл в неизвестном направлении “начинать новую жизнь”. Помню, что я долго размышлял над фразой про “новую жизнь”, словно бы в ней и впрямь скрывался какой-то намек на то, куда он уехал; и я еще с неделю упрасивал, уламывал и умолял маму дать мне самому взглянуть на письмо. (“Ну ладно, — сдалась она, вытащив письмо из ящика стола, — не знаю, как уж он хотел, чтобы я тебе это все объяснила, так что, может, и его объяснение сойдет”.) Письмо было написано на бланке отеля “Даблтри-Инн” недалеко от аэропорта. Я был уверен, что найду ценные подсказки, по которым пойму, где он находится, но вместо этого был сражен чрезвычайной краткостью письма (всего четыре-пять строк) и неряшливым, торопливым, “на отвали” почерком, будто он начеркал что-то, убегая в магазин.

Уход отца во многом стал для нас облегчением. Я уж точно по нему не скучал, и мама, кажется, не скучала тоже, хотя нам обоим было ужасно грустно расставаться с нашей домработницей Чинцией, потому что мы больше не могли ей платить (Чинция плакала и предлагала остаться и работать у нас бесплатно, но мама нашла ей место на полдня в том же доме, у семейной пары с ребенком, поэтому где-то раз в неделю она заходила к маме в гости на чашку кофе, прямо в халате, который надевала во время уборки).

Фотография молодого загорелого отца на лыжном склоне незаметно исчезла со стены, и вместо нее появилось наше фото с мамой — на катке в Центральном парке. Вечерами мама допоздна сидела за калькулятором, разбирая счета. Хоть мы и снимали квартиру с фиксированной арендной платой, без отцовских денег каждый месяц превращался в квест на выживание, потому что в новой жизни на новом месте отец твердо решил обойтись без выплаты алиментов. И мы в общем-то привыкли к прачечной в подвале, утренним киносеансам за полцены, вчерашней выпечке в булочных, дешевой китайской еде на вынос (лапша и омлет фу-янь) и поискам в карманах мелочи на проезд. Но в тот день, когда я тащился из музея домой — замерзший, промокший, скрипя зубами от головной боли, — до меня вдруг дошло, что теперь, когда нас бросил отец, до нас с мамой больше никому нет дела, никто нас не ждет, волнуясь, где это мы пропадали полдня и почему не звоним. Где бы он там ни был, в своей Новой Жизни (в тропиках или прериях, на малолюдном лыжном курорте или в американском мегаполисе), он уж точно прилипнет к экрану телевизора — я живо представлял, как он слегка даже заведется, разволнуется, такое с ним бывало, когда

сообщали о крупных катастрофах, которые его никак не затрагивали — об ураганах, например, или обрушениях мостов в каких-нибудь отдаленных штатах. Но хватит ли его волнения на то, чтобы позвонить нам? Да нет, ведь не станет он звонить, к примеру, бывшим коллегам, чтобы узнать, что там у них творится в “Сто первом”^[12], хоть и наверняка подумает, а как там сортировщики чечевицы и специалисты по выжиманию карандашей — так он звал своих сотрудников. Что там, секретарши перепугались, сгребли со столов семейные фото, сбросили каблуки и кинулись по домам? Или все переросло во что-то вроде траурной вечеринки: в офис доставили сэндвичей, и все собрались возле телевизора в переговорной на четырнадцатом этаже?

Я добирался домой, казалось, целую вечность, но не запомнил почти ничего, кроме какой-то серой, холодной, спеленутой в саван из дождя Мэдисон-авеню — колыхались зонтики, толпы на тротуарах молча плыли к Южному Манхэттену, везде — ощущение сгорбленной безликости, как на черно-белых снимках тридцатых годов — с очередями за хлебом и возле лопнувших банков. Головная боль и дождь стянули мир в узкий круг боли, поэтому я мало что замечал, кроме ссутуленных спин идущих впереди людей. По правде сказать, голова у меня болела так, что я вообще не видел, куда иду, и пару раз, когда я тащился через переходы, не обращая внимания на светофор, меня чуть не сшибла машина. Похоже, никто точно не знал, что случилось, хотя радио в припаркованной машине проорало что-то про “Северную Корею”, а в толпе я слышал слова “Иран” и “Аль-Каида”. Тощий и до костей промокший чернокожий мужчина с дредами расхаживал перед входом в музей Уитни, потрясал кулаками и выкрикивал в воздух: “Пристегнись, Манхэттен! Осама бен Ладен опять нас *встряхнет!*”

Голова у меня кружилась, хотелось присесть, но я все ковылял домой, рывками — будто игрушка, в которой что-то поломалось. Копы жестикулировали, копы свистели и махали руками. С кончика носа у меня капала вода. Снова и снова, смаргивая дождь с ресниц, я крутил в уме одну и ту же мысль: нужно как можно скорее добраться домой, к маме. Она там мечется по квартире, рвет на голове волосы, ругает себя за то, что отобрала у меня телефон. Хотя со связью были проблемы, и у редких уличных телефонов-автоматов выстроились очереди по десять-двадцать человек. *Мама*, думал я, *мама*, пытаюсь мысленно просигналить ей, что я жив. Я хотел, чтобы она поскорее узнала — со мной все нормально, но в то же время повторял себе: я молодец, что иду, а не бегу, не хочу же я грохнуться в обморок, не дойдя до дома. Ну и повезло же, что она ушла буквально за пару секунд до взрыва! А меня она отправила в самый его центр и теперь думала, наверное, что я погиб.

Стоило вспомнить о девочке, которая спасла мне жизнь, как начинало щипать в глазах. Пиппа! У такого смешливого маленького рыжика и вдруг такое чудное, сухое имя, но оно ей шло. Я вспоминал ее взгляд, и голова шла кругом от одной мысли о том, что она — совсем незнакомая мне девочка — спасла меня, задержав на выставке и не дав уйти в черную вспышку сувенирного магазина, в конец всего, в *nada*^[13]. Скажу ли я ей когда-нибудь, что она спасла мне жизнь? А что до старика, так ведь пожарные и спасатели вбежали в здание буквально через пару минут после того, как я оттуда вышел, и я все надеялся, что кто-нибудь добрался туда и его спас — дверь-то была подперта, значит, они знали, что он там. Увижу ли я их снова?

Когда я наконец добрался до дома, то уже продрог до костей и шел, шатаюсь и спотыкаясь. С промокшей одежды лилась вода, струясь за мной по холлу неровным ручейком.

После людных улиц в пустынном холле я чувствовал себя неуютно. И хотя в камере хранения надрылся переносной телик, а где-то в здании всхрапывали рации, никто из ребят-консьержей — ни Золотко, ни Карлос, ни Хозе — не вышел мне навстречу.

Вдали виднелась освещенная коробка лифта, пустая, двери нараспашку, будто волшебный шкаф иллюзиониста. Шестеренки сцепились, дрогнули, и этаж за этажом, под мигание старомодных жемчужинок-цифр я проскрипел до седьмого. Оказавшись в знакомом тусклом коридоре — мышино-бурые стены, удушливый ковровый запах, — я почувствовал огромное облегчение.

Я с шумом провернул ключ в замке.

— Привет! — крикнул, заходя в полутемную квартиру: шторы опущены, ни звука.

В тишине гудел холодильник. *Господи*, рванулась во мне ужасная мысль, *она что, еще не вернулась?*

— Мам? — снова позвал я.

С ухнувшим вниз сердцем я промчался через прихожую и застыл в замешательстве посреди гостиной.

На крючке возле двери не висели ее ключи, на столе не стояла ее сумка. Чавкая в тишине мокрыми ботинками, я прошел на кухню — скорее кухоньку, всего-навсего нишу с двухконфорочной плитой под вытяжкой. Там стояла ее кофейная чашка, купленная на блошином рынке — зеленого стекла, с отпечатком помады на ободке.

Я стоял, уставясь на грязную чашку с глотком холодного кофе на доньшке, и не знал, что делать. В ушах у меня стоял свист и шум, голова болела так, что я едва мог думать: в глазах плескались волны черноты. Я так заиклился на том, что она волнуется, так рвался домой, чтобы ее успокоить, что мне даже в голову не приходило, что ее самой дома может и не быть.

Морщась от каждого шага, я прошел по коридору в родительскую спальню — с тех пор как ушел отец, там ничего особенно не изменилось, разве что теперь, когда комната стала маминной, там прибавилось вещей и женскости. Автоответчик на столике возле неубранной, холмистой кровати не светился: сообщений не было.

Стоя в дверях и чуть ли не переламываясь от боли, я пытался сосредоточиться. Дневная сумятица отдавалась дрожью во всем теле, будто бы я очень долго протрясся в машине.

Так, сначала самое важное: найти телефон, проверить сообщения. Вот только где мой телефон, я не знал. Когда меня отстранили от занятий, телефон мама отобрала, прошлым вечером, пока она была в ванной, я пытался его вызвонить, но, судя по всему, она его выключила.

Помню, как запустил руки в верхний ящик ее комода и продирался сквозь путаницу шарфов: шелка, бархата, индийского шитья.

Затем, с превеликим усилием (хоть она была и не тяжелая) я подтащил банкетку к изножке кровати и вскарабкался на нее, чтобы заглянуть на верхнюю полку у нее в шкафу. После этого я в каком-то полудурмане сидел на ковре, привалившись щекой к банкетке, в ушах — отвратительный белый шум.

Вдруг — страх. Помню, как я вскинул голову, ошпаренный мыслью о том, что на кухне открыт газ, что сейчас я отравлюсь газом. Вот только запаха газа я не чувствовал.

Наверное, я заходил в маленькую ванную в ее спальне, рылся в аптечке в поисках аспирина, чего-нибудь от головы, не знаю даже. Точно помню, что в какой-то момент, не знаю как, я очутился у себя в комнате — я хватался одной рукой за стену возле кровати и чувствовал, что меня вот-вот стошнит. А потом все так смешалось, что я толком и не могу

ничего рассказать, помню только, как оторопело вскочил с дивана в гостиной, услышав, что вроде хлопнула дверь.

Но это была дверь соседней квартиры, не наша. В комнате было темно и я слышал с улицы гул машин, вечерние пробки. В полумраке я обмер на пару секунд, пока звуки не зазвучали узнаваемо, а на фоне сумеречного окна не проступили знакомые очертания настольной лампы и лирообразных спинок стульев.

— Мам? — позвал я с заметной трещинкой паники в голосе.

Я уснул как был — в грязной мокрой одежде, диван тоже промок, там, где я лежал, осталась вязкая влажная впадина. Мама утром оставила окно приоткрытым и жалюзи постукивали от зябкого ветерка.

На часах было 18.47. Стало еще страшнее, и я зашаркал по квартире, зажигая везде свет — даже люстру в гостиной, которой мы обычно не пользовались, потому что лампы там были слишком мощные.

Зайдя в спальню матери, я увидел мигающий в темноте красный огонек. Меня обдало восхитительной волной облегчения: я кинулся к кровати, нащупал кнопку автоответчика и лишь через несколько секунд понял, что говорит не мама, а ее коллега — отчего-то очень бодрым голосом:

— Привет, Одри, это Прю, проверка связи. Ну и денек, правда? Слушай, там по “Пареха” пришли правки, надо обсудить, но сроки все равно передвинули, так что не горит. Надеюсь, солнце, ты там в порядке, как сможешь — позвони.

Я долго стоял там и глядел на автоответчик после того, как он, пикнув, выключился. Затем слегка раздвинул шторы и выглянул на улицу.

Люди как раз возвращались домой с работы. Вдалеке еле слышно сигналили машины. Голова у меня по-прежнему раскалывалась, и чувствовал я себя так, будто проснулся с тяжелого похмелья (тогда еще новое для меня ощущение, не то что сейчас, к сожалению), будто забыл и не сделал чего-то важного.

Я вернулся в спальню, трясущимися руками набрал номер ее сотового — тыча в кнопки так быстро, что ошибся и пришлось набирать заново. Но мама не взяла трубку, включилась голосовая почта. Я оставил сообщение (*Мам, это я, я волнуюсь, ты где?*) и уселся на кровати, обхватив голову руками.

С нижних этажей поплыли запахи еды. Из соседних квартир просачивались невнятные голоса, какие-то глухие звуки, кто-то хлопал дверцами шкафчиков. Наступал вечер, люди приходили домой с работы, бросали на пол портфели, трепали по головам собак, кошек и детей, включали новости, собирались в рестораны. Где же она?

Я перебрал все причины, по которым она могла задержаться — но не придумал ничего убедительного. Хотя, кто знает, вдруг там как-то улицу перекрыли и она не может попасть домой? Но она бы тогда позвонила. Может, телефон потеряла, думал я. Сломала? Отдала кому-то, кому он был нужнее?

От тишины в квартире мне стало жутко. В трубах гудела вода, ветерок исподтишка пощелкивал планками жалюзи. Просто потому, что я без толку сидел на кровати, казалось — нужно действовать, и я позвонил ей снова, оставил еще одно сообщение, на этот раз не сумев скрыть дрожи в голосе. *Мам, забыл сказать, я дома. Позвони сразу, как сможешь, ладно?* Затем я на всякий случай позвонил ей на работу и оставил сообщение на автоответчике.

Я вернулся в гостиную — в груди расплзался могильный холод. Постояв там пару минут, я пошел проверить, не оставила ли она мне записки на доске в кухне, хотя прекрасно

знал, что никакой записки там нет. Вернувшись в гостиную, я выглянул из окна на запруженную улицу. Может, она решила меня не будить и побежала в аптеку или за едой? Я подумал было поискать ее на улице, но разве смог бы я углядеть ее в вечерней толпе, и к тому же я боялся пропустить ее звонок.

Консьержи уже давно по идее должны были смениться. Я позвонил на первый, надеясь, что попаду на Карлоса (самого старшего и самого осанистого из всех консьержей), а еще лучше — на Хозе: громадного развеселого доминиканца, которого я любил больше всех. Но трубку все не брали и не брали, пока наконец мне, запинаясь, не ответил тонкий голос с сильным акцентом:

— Халё?

— А Хозе там?

— Нет, — ответил голос. — Нет. Потом пазывани.

Я понял, что этот тот самый пугливый азиатик в резиновых перчатках и защитных очках — чернорабочий, который управлял полотером и разбирал мусор. Консьержи, которые, похоже, тоже не знали, как его зовут, называли его “новенький” и жаловались на начальство: мол, понаберут на работу уборщиков, не знающих ни английского, ни испанского.

Во всех неполадках они винили его: новенький плохо расчистил дорожки, новенький не туда сунул почту, грязь во дворе — это все новенький.

— Потом пазывани, — с надеждой в голосе сказал новенький.

— Нет, стойте! — сказал я, когда он хотел было повесить трубку. — Мне нужно с кем-нибудь поговорить.

Растерянное молчание.

— Пожалуйста, скажите, там есть еще кто-нибудь? — спросил я. — Это очень срочно!

— Окей... — настороженно отозвался голос, не ставя точку, от чего я воспрянул духом.

В тишине было слышно, как шумно он дышит.

— Это Тео Декер, — сказал я. — Из квартиры семь-си. Я вас часто видел внизу. Моя мама не пришла домой, и я не знаю, что делать.

Молчание — долгое, озадаченное.

— Семь, — повторил он так, будто только одно это слово и понял.

— Мама, — повторил я. — Где Карлос? Там есть кто-нибудь еще?

— Извините, съасиба, — с паникой в голосе выпалил он и повесил трубку.

Умирая от беспокойства, я тоже положил трубку и, постояв оцепенело посреди гостиной, пошел и включил телевизор. В городе царил хаос, все мосты были перекрыты — поэтому-то ни Карлос, ни Хозе не смогли добраться до работы, — но ничего такого, что могло бы задержать маму, не показали. Я увидел на экране номер, на который надо было звонить, если кто-то пропал. Я записал его на обрывке газеты и условился сам с собой: если она не появится ровно через полчаса, я позвоню.

От того, что я записал номер, стало полегче. Я почему-то был уверен, что само выписывание цифр на бумаге как по волшебству вернет ее домой. Но вот прошло сорок пять минут, потом час, а ее все не было — тут я не выдержал и набрал номер (пока ждал ответа, расхаживал взад-вперед по комнате и нервно косился в телевизор на рекламу матрасов и стереосистем — бесплатная доставка, кредит без документов).

Наконец мне ответила женщина, отрывисто, очень деловито. Она записала имя моей матери, мой номер телефона, сказала, что мамы не было в “ее списке”, но, если она там появится, она позвонит. Едва я повесил трубку, как до меня дошло, что я не спросил, что это

за “список” такой; промучившись не знаю уж сколько времени дурными предчувствиями, исходив нервно вдоль и поперек все четыре комнаты в квартире, выдвигая ящики, снимая книги с полок, я включил мамин компьютер — не удастся ли чего наугулить (ничего), и позвонил с вопросом про список.

— Ее нет в списке погибших, — сказала мне уже другая женщина, до странного будничным тоном. — И в списке раненых.

Сердце у меня подпрыгнуло:

— Тогда, значит, она в порядке?

— Это значит, что мы не располагаем никакой информацией о ней. Ты уже оставлял нам свой номер, чтобы мы могли с тобой связаться?

Да, отвечал я, и мне сказали, что перезвонят.

— Бесплатная доставка и установка, — сообщил телевизор. — Оформите беспроцентный кредит на полгода!

— Ну тогда удачи тебе, — сказала женщина и повесила трубку.

В квартире стояла неестественная тишина, которую не заглушала даже громкая болтовня телевизора. Двадцать один человек погиб, “десятки” раненых. Я тщетно пытался успокоить себя этой цифрой: двадцать один — это ведь не очень много, правда? Двадцать один человек — это полупустой кинотеатр или, например, автобус. В моем классе по английскому и то было на три человека больше. Но ко мне подбирались все новые страхи и сомнения, и я уже почти готов был с криком “Мама! Мама!” выскочить на улицу.

Но как бы ни хотелось мне отправиться на ее поиски, я знал, что должен сидеть, где сижу. Мы встречаемся дома — мы так договорились, такой у нас был железный уговор еще с начальной школы, когда я вернулся из школы с брошюрой “Как вести себя в чрезвычайных ситуациях?”, где мультяшные муравьи в противогазах запасались продуктами и готовились к какому-то неопознанному бедствию.

Я разгадал все кроссворды, ответил на дурацкие вопросы тестов (“Какую одежду ты положишь в свой набор для выживания? А. Купальник. Б. Спортивный костюм и куртку. В. Юбку “хула”. Д. Фольгу”) — и вместе с мамой разработал “План действий семьи в чрезвычайных ситуациях”. У нас он был простой: встречаемся дома. Тот, кто по какой-то причине не может попасть домой, звонит. Но тянулось время, телефон молчал, и когда в новостях число погибших выросло сначала до двадцати двух, а потом до двадцати пяти, я снова позвонил на горячую линию.

— Да, — раздражающе спокойным голосом ответила мне женщина, — я вижу, что ты нам уже звонил, мы записали себе ее имя.

— Но... может, она, не знаю, в больнице?

— Возможно. Но, боюсь, что точно сказать я тебе ничего не могу. Как ты сказал, тебя зовут? Хочешь поговорить с психологом?

— А в какую больницу везут раненых?

— Прости, я правда не могу...

— В Бет-Израиль? Ленокс-Хилл?

— Слушай, тут все зависит от того, какие у человека ранения. Тут и травмы глаз, и ожоги, много всего. Людей оперируют по всему городу...

— А кто те люди, которых объявили погибшими пару минут назад?

— Слушай, я понимаю, каково тебе, и хотела бы помочь, но боюсь, что в моем списке нет никакой Одри Декер.

Я нервно оглядывал гостиную. Мамина книга (“Джейн и Пруденс” Барбары Пим) лежала корешком вверх на спинке дивана, ее тонкий кашемировый кардиган свисал со стула. Такие кардиганы у нее были всех цветов, этот — бледно-голубого.

— Может, тебе в “Арсенал” приехать? Здесь собирают родственников пострадавших. Тут еда, горячего кофе сколько хочешь, есть с кем поговорить.

— Но я хочу узнать, есть ли среди погибших те, чьих имен вы пока не знаете? Или среди раненых?

— Слушай, я понимаю, что ты волнуешься. Я очень, очень хотела бы тебе помочь, но правда, не могу ничего сделать. Как только у нас будет точная информация, тебе позвонят.

— Мне нужно найти маму! Пожалуйста! Она, наверное, в какой-нибудь больнице. Хоть подскажите, где ее поискать!

— А сколько тебе лет? — настороженно спросила женщина.

После неловкой паузы я повесил трубку. Несколько минут заторможенно глядел на телефон, испытывая одновременно облегчение и вину, будто бы я свалил что-то на пол и разбил. Затем я перевел взгляд на руки и увидел, что они трясутся; вдруг, совершенно отстраненно, так, как если бы я заметил, что батарейка садится на айпоне, я подумал, что целый день ничего не ел. Раньше такое случалось только однажды, когда я болел желудочным гриппом. Поэтому я нашел в холодильнике картонку с остатками лапши ло-мейн — вчерашним ужином и проглотил все, стоя возле стола, чувствуя себя голым и беззащитным под белым светом свисавшей с потолка лампочки.

В холодильнике еще стоял омлет фу-янь с рисом, но его я оставил для мамы, если она вдруг вернется голодной. Уже почти полночь, еще чуть-чуть и заказать на дом ничего будет нельзя. Поев, я вымыл вилку и кофейные чашки, стоявшие с утра, и еще вытер стол — она вернется, а все дела сделаны, ей будет приятно, что я прибрался на кухне, уверенно твердил себе я. А еще она обрадуется (ну, мне так казалось), когда узнает, что я спас ее любимую картину. Мне попадет, наверное. Но я все объясню.

По телевизору рассказывали, кто взял на себя ответственность за взрывы: в новостях эти организации попеременно звали то “экстремистами правого крыла”, то “доморощенными террористами”. Они внедрились в компанию, которая занималась перевозкой и хранением грузов, затем с помощью неизвестных сообщников — сотрудников музея спрятали взрывчатку внутри деревянных помостов, на которые в сувенирной лавке ставили вертушки с открытками и выкладывали альбомы по искусству. Часть террористов погибла, кое-кого удалось схватить, кому-то удалось бежать. По телевизору про все это подробно распространялись, но у меня уже голова шла кругом.

Я теперь трудился над ящичком кухонного стола, который наглухо заело, еще когда с нами жил отец; там лежали формочки для печенья, старые палочки для фондю и ножи для срезания цедры, которыми мы никогда и не пользовались. Мама около года пыталась вызвать кого-нибудь из местных служб, чтобы его починили (а еще сломанную дверную ручку, подтекающий кран и еще штук пять других мелочей). Я достал нож для масла, поддел им края ящичка, стараясь не облупить краску еще сильнее. Глубоко в костях у меня еще гудел взрыв, будто это звон в ушах отдавался внутренним эхом, и, хуже того, я ощущал запах крови, ее жестяной, соленый привкус был у меня на языке. (Этот запах будет преследовать меня еще долго, но тогда я этого не знал.)

Я, нервничая, корпел над ящичком, и думал, не надо ли кому-нибудь позвонить, и если надо, то кому. Мама была единственным ребенком в семье. Теоретически у меня имелись

бабушка с дедушкой — папины отец с мачехой, которые жили где-то в Мэриленде, но как с ними связаться, я не знал. С мачехой отец общался сквозь зубы — Дороти, иммигрантка из Восточной Европы, до того как выйти замуж за деда, мыла полы в офисах.

(Отец, который легко ухватывал чужую мимику, выдавал беспощадно смешную пародию на Дороти: такая фрау на батарейках, губы сжаты, двигается рывками, а акцент как у Курта Юргенса в “Битве за Англию”.) Но хоть Дороти он и не выносил, врагом номер один для него все равно был Папаша Декер: высокий, толстый мужик грозного вида, с румяными щеками и черными волосами (похоже, крашеными), который питал пристрастие к жилетам и шотландке кричащих расцветок и свято верил в то, что детям полезно давать ремня. *He сахар*, вот какое выражение у меня ассоциировалось с дедушкой Декером, потому что отец вечно говорил: “Жизнь с этим уродом была не сахар” или “Уж поверь мне, сидеть с ним за одним столом было не сахар”. Дедушку Декера и Дороти я видел всего два раза в жизни, и оба раза — в довольно накаленной обстановке: мать, не снимая пальто и не выпуская из рук сумочки, присаживалась на самый краешек дивана, а все ее отважные попытки завязать беседу проваливались и камнем шли ко дну. Я помнил только натянутые улыбки, тяжелый запах вишневого трубочного табака и не слишком любезный совет дедули Декера держать мои липкие ручонки подальше от его игрушечной железной дороги (макет альпийской деревушки занимал в их доме целую комнату и, по его словам, стоил десятки тысяч долларов).

Лезвие ножа погнулось — я слишком сильно упер его в стенку заевшего ящичка, а он был из маминых приличных ножей, серебряный, принадлежал еще ее матери. Я упорно принялся распрямлять его, закусив губу, стараясь изо всех сил думать только о ноже, потому что отвратительные воспоминания о прошедшем дне то и дело вспыхивали у меня в голове. Не думать о том, что произошло, — все равно, что не думать о фиолетовой корове из детского стишка^[14]. Но только о ней и думалось.

И вдруг ящик поддался. Внутри была свалка: проржавевшие батарейки, сломанная терка для сыра, формочки для печенья в виде снежинок, такие мама последний раз пекла, когда я был в первом классе, все — вперемешку с мятыми меню еды навынос из “Виан”, “Шан Ли Палас” и “Дельмоникос”. Я выдвинул ящик до конца, чтобы мама сразу его заметила, когда вернется, добрал до дивана, завернулся в плед и устроился так, чтобы хорошо видеть входную дверь.

Мысли в голове вихрились кругами. Дрожа, с воспаленными глазами, я долго просидел перед светящимся экраном телевизора, в котором тревожно вспыхивали и гасли голубые тени. Даже новостей уже не показывали, одни кадры с ночной улицей перед музеем (который теперь выглядел совсем как всегда, если не считать натянутой вдоль тротуара желтой полицейской ленты, вооруженной охраны у входа и ошметков дыма, то и дело вырывавшихся в белое софитовое небо).

Да где же она? Почему еще не дома? Конечно, она все мне объяснит, да еще и посмеется над моими страхами, так что потом я сам буду думать, что глупо было так волноваться.

Чтобы перестать о ней думать, я изо всех сил стал вслушиваться в интервью, которое уже показывали раньше, а теперь повторяли. Музейный куратор — в очках, твидовом пиджаке и галстук-бабочке — взволнованно говорил, что специалистов не пускают в музей, к экспонатам и это просто возмутительно. “Да, — говорил он, — я понимаю, что это место преступления, но картины очень чувствительны к любым изменениям воздуха и температуры. Вода, дым и химикаты могут их повредить. Мы сейчас тут с вами разговариваем, а там гибнут произведения искусства. Просто необходимо, чтобы

сотрудников музея и реставраторов как можно скорее пустили к месту взрыва, чтобы мы могли оценить уровень ущерба...”

И вдруг — телефонный звонок, ненормально громкий, будто будильник, который выдернул меня из ужасного кошмара. Какая волна облегчения меня накрыла — не описать словами. Я поскользнулся и чуть не приложился лицом об пол — так рванулся к телефону. Я был уверен, звонит мама, но глянул на определитель номера и оцепенел: *NYDoCFS*^[15].

Нью-Йоркское управление по делам — чего, кого? После секундного замешательства я схватил трубку:

— Алло?

— Здравствуйте, — негромко сказал кто-то до жути мягким тоном. — С кем я говорю?

— Это Теодор Декер, — растерявшись, ответил я. — А вы кто?

— Здравствуй, Теодор. Меня зовут Марджори Бет Вайнберг, я социальный работник, я работаю в Нью-Йоркском управлении по делам семьи и ребенка.

— В чем дело? Вы про маму что-то знаете?

— Ты — сын Одри Декер, верно?

— Мама! Где она? С ней все хорошо?

Долгая пауза — ужасная пауза.

— Что случилось? — закричал я. — Где она?

— А твой отец дома? Я могу с ним поговорить?

— Нет, он не может подойти к телефону. Что случилось?

— Прости, но дело срочное. Боюсь, мне действительно очень нужно прямо сейчас поговорить с твоим отцом.

— Что с мамой? — спросил я, вскочив. — Пожалуйста! Скажите только, где она! Что случилось?

— Ты ведь там не один, Теодор? Дома есть взрослые?

— Нет, они вышли за кофе, — ответил я, лихорадочно оглядывая гостиную. Под стулом — крест-накрест лежат балетки. В обернутом фольгой горшке — лиловые гиацинты.

— Отец тоже вышел?

— Нет, он спит. Где мама? Она ранена? Что случилось?

— Прости, Теодор, но я очень прошу тебя разбудить папу.

— Нет! Не могу!

— Прости, но это очень важно.

— Он не может подойти к телефону. Почему же вы просто не скажете, что случилось?

— Хорошо, если твой отец не может подойти к телефону, тогда я оставлю тебе свою контактную информацию. — Голос был мягкий, сочувственный, но все равно на слух напоминал бортовой компьютер ХЭЛ из “Космической одиссеи 2001”. — Пожалуйста, попроси его срочно связаться со мной. Это очень важно.

Повесив трубку, я долго-долго сидел, не двигаясь. С моего места были видны часы над плитой — два часа сорок пять минут. Прежде мне никогда не доводилось так поздно быть одному, да еще и на ногах. Гостиная, обычно такая светлая, просторная, искрящаяся от маминого в ней присутствия, усохла до холодной, бледной унылости, как летний коттедж — зимой: потертая обивка, кусачий сизалевый коврик, бумажные абажуры из Чайнатауна и слишком легкие, слишком маленькие стулья.

Вся мебель будто вытянулась, привсталала на цыпочки в тревожном ожидании. Я слышал, как стучит мое сердце, слышал все щелчки, перестуки и присвисты огромного старого дома,

дремавшего вокруг меня. Спали все. Даже звуки клаксонов и громыхание грузовиков, изредка проезжавших по Пятьдесят седьмой улице, казались еле слышными, нерешительными — редкими, будто неслись с другой планеты.

Я знал, что скоро ночное небо станет темно-синим, в комнату скользнет первый хрупкий, зябкий проблеск апрельского дня. По улице забурчат и загрохочут мусоровозы, в парке застрекочут весенние птицы, по всему городу в спальнях зазвонят будильники. Грузчики, высунувшись из фургонов, будут шмякать толстыми пачками “Таймс” и “Дейли Ньюс” об асфальт возле газетных киосков. Во всем городе матери и отцы зашаркают по домам с растрепанными волосами, в ночнушках и халатах — поставят вариться кофе, включают тостеры, разбудят детей в школу.

А что буду делать я? Какая-то часть меня занемела от отчаяния, я был словно лабораторная крыса, которая во время эксперимента потеряла всякую надежду и улеглась помирать с голоду посреди лабиринта.

Я все пытался прийти в себя. Какое-то время я почти даже поверил, что, если буду тихонечко сидеть и ждать, все как-то само собой выправится. Я так устал, что квартира вокруг меня расплывалась: вокруг настольной лампы нимбом дрожал круг света, пульсировала полоса обоев.

Я взял телефонный справочник. Положил обратно. Звонить в полицию я боялся до ужаса. Да и что она сделает, эта полиция? Я-то знал, спасибо телевизору, что пропажу человека начинают расследовать через двадцать четыре часа после его исчезновения. Я уже почти было убедил себя, что надо ехать в центр и искать ее — ну и пусть, что ночь на дворе, да и наплевать на “Действия семьи в чрезвычайных ситуациях”, — когда тишину взрезал оглушительный звон (дверного звонка!) и сердце у меня подпрыгнуло от радости.

Спотыкаясь, скользя, я кое-как добрался до двери и затеребил замки.

— Мам! — крикнул я, сдвинув верхнюю защелку, распахнув дверь настежь — и тут мое сердце полетело вниз, отсчитывая этажи.

За дверью стояли два человека, которых я никогда раньше не видел: приземистая корейка с короткой игольчатой стрижкой и латиноамериканец в рубашке с галстуком, на вид — точь-в-точь Луис из “Улицы Сезам”. Страшного в них ничего не было, напротив — они были отрадно немолодые и невзрачные, одеты, будто учителя, которых вызвали в школу на замену, но хоть лица у них и были добрыми, едва их увидев, я понял, что вся моя жизнь, какой она была до этой минуты, кончена.

Глава третья

Парк-авеню

1.

Соцработники усадили меня на заднее сиденье своей малолитражки и отвезли в забегаловку возле их работы — фальшиво-помпезное заведение с косыми зеркалами и дешевыми китайскими люстрами. В кабинке (я сидел напротив них) они сразу вытащили из портфелей ручки и планшеты и все уговаривали меня позавтракать, пока сами отхлебывали кофе и задавали разные вопросы. За окном было еще темно, город только-только просыпался. Не помню, чтоб я плакал или ел, но столько лет прошло, а у меня в носу стоит запах той яичницы, которую они мне заказали, и от одного воспоминания о дымящейся полной тарелке у меня скручивает желудок.

В дайнере почти никого больше не было. Сонные помощники официантов распаковывали за стойкой коробки с бейглами и маффинами. В соседней кабинке сгрудились кучкой изможденные тусовщики с растекшейся вокруг глаз подводкой. Помню, как пялился на них с отчаянным, цепким вниманием — на потного пацана в китайском пиджаке с воротником-стойкой, на потрепанную девицу с розовыми прядями в волосах и еще на старую даму при полном макияже и в жарковатой для апреля шубе, она сидела у стойки совсем одна и ела яблочный пирог.

Социальные работники, которые разве что не трясли меня и не щелкали пальцами у меня под носом, казалось, понимали, как не хочу я осознавать то, что они пытались до меня донести. Они по очереди наклонялись ко мне через стол и повторяли то, чего я не хотел слышать. Моя мать погибла. После взрыва во все стороны полетели обломки, ее ударило по голове. Смерть наступила мгновенно. Ужасно жаль, что это им приходится сообщать мне такие новости, это самая отвратительная часть их работы, но мне правда, правда нужно понять, что произошло. Моя мать умерла, ее тело находится в Нью-Йоркской больнице. Понимаю ли я это?

— Да, — сказал я после затянувшейся паузы, когда понял, что они ждут от меня какого-то ответа. То, как они настойчиво, в лоб повторяли слова “смерть” и “умерла” никак не вязалось с их участливыми голосами и деловыми костюмами из синтетики, испанской попсой из радиоприемника и бодрыми надписями над стойкой (*Смузи из свежих фруктов. Диетический тортик. Попробуйте наш гамбургер с индейкой!*).

— ¿Fritas^[16]? — к нашему столику подошел официант с огромной тарелкой картошки фри.

Оба соцработника вздрогнули, мужчина (Энрике, давай на ты) сказал что-то по-испански и указал на кабинку, откуда официанту уже махали тусовщики.

Я — с красными глазами, в ступоре — сидел над быстро остывавшей яичницей и даже думать не мог о какой-то практической стороне дела. В свете того, что случилось, их вопросы о моем отце казались настолько бессмысленными, что до меня плохо доходило, зачем они так настойчиво о нем спрашивают.

— Так когда ты его видел в последний раз? — спросила корейка, которая неоднократно просила звать ее по имени (я все пытаюсь его припомнить и не могу). Зато я до сих пор

помню ее пухлые руки, сложенные на столе и жутковатый цвет ее лака для ногтей: серебристого, пепельного оттенка — нечто среднее между сизым и лавандовым.

— Ну хоть примерно? — настаивал Энрике. — Когда видел отца?

— Плюс-минус, — добавила корейнка. — Как по-твоему, когда?

— Эээ, — сказал я, думалось тяжело, — может, прошлой осенью?

Смерть мамы все еще казалась мне какой-то ошибкой, которая обязательно обнаружится, если я возьму себя в руки и буду помогать этим людям.

— В октябре? В сентябре? — мягко уточнила она, когда я надолго замолчал.

Голова у меня болела так, что я готов был разрыдаться от малейшего движения, хотя мне сейчас было не до головной боли.

— Не помню, — ответил я. — Школа уже началась.

— Так, значит, в сентябре? — спросил Энрике, сделав пометку в планшете. Мужик он был крепко сбитый, похожий на обросшего жирком спортивного тренера, и в костюме с галстуком ему было явно не по себе, однако от его тона так и веяло спокойствием офисного мира: конторскими архивами, казенным ковролином — в округе Манхэттен все идет своим чередом. — И с тех вы с ним не общались и не получали от него никаких сообщений?

— Есть ли у него приятель, близкий друг, который может знать, где он? — спросила корейнка, по-матерински склонившись ко мне.

Вопрос привел меня в замешательство. Таких людей я не знал. Сама мысль о том, что у отца могут быть приятели (а тем более — “близкие друзья”), содержала в себе настолько глубокое непонимание всей его сущности, что я не понимал, как на такое отвечать.

И только после того, как унесли тарелки, в тот неловкий промежуток, когда все уже всё доели, но продолжают сидеть за столом, до меня наконец дошло, куда ведут все эти их вроде бы не имевшие отношения к делу расспросы о моем отце, бабушке и дедушке Декерах (живших где-то в Мэриленде, названия города я не помнил, какая-то полудеревня сразу за “Хоум Депот”^[17]) и дядях с тетями, которых у меня не было.

Я несовершеннолетний и я остался без родительской опеки. Меня сейчас же заберут из дома (“из среды, где я вырос”, как они это называли). До тех пор пока не удастся связаться с родителями моего отца, я буду находиться под присмотром соцслужб.

— Ну а со мной-то что будет? — повторил я, отодвинувшись подальше, заметно дрожащим от паники голосом. Все было так по-простому, неофициально, когда я выключил телевизор и поехал с ними — перекусить, как они сказали. Никто и словом не обмолвился о том, что меня заберут из дома.

Энрике опустил глаза в планшет.

— Ну, Тео, — он произносил “Тео”, через “е”, не через “э”, они оба так говорили — неправильно, — ты несовершеннолетний, и тебе нужна помощь. Мы срочно подыщем тебе какой-нибудь патронат.

— Патронат? — от этого слова у меня стиснуло желудок — от него несло залами суда, наглухо запертыми спальнями, баскетбольными площадками за забором из колючей проволоки.

— Ну, хорошо — приемную семью. Но это только до тех пор, пока твои бабушка с дедушкой...

— Стойте! — сказал я, оглушенный тем, как быстро от меня вообще перестало что-либо зависеть, и тем, как они произносили это “бабушка с дедушкой” — с намеком на теплоту, родственность, которых не было и в помине.

— Мы просто найдем кого-нибудь, кто примет тебя, пока мы будем их искать, — сказала корейка, придвинувшись еще ближе. Из рта у нее пахло мятой, и еще — самую малость — чесноком. — Мы понимаем, что тебе сейчас очень грустно, но ты не переживай. Мы будем о тебе заботиться, пока отыщем тех, кто тебя любит и ждет, это наша работа, понимаешь?

Все было настолько ужасно, что никак не могло быть правдой. Я таращился на двух незнакомцев, сидевших напротив меня с желто-серыми от электрического света лицами. Сама мысль о том, что дедуля Декер и Дороти меня любят и ждут, была абсурдной.

— Но что будет со мной? — спросил я.

— Наша главная задача, — сказал Энрике, — подыскать тебе на это время достойную приемную семью. Людей, которые будут заботиться о тебе наряду с сотрудниками соцслужб.

Их совместные попытки меня утешить — спокойные голоса, участливые, разумные фразы — вызвали у меня приступ паники.

— Не надо! — вскрикнул я, отшатнувшись от корейки, которая попыталась сочувственно сжать мою руку.

— Тео, послушай. Я тебе кое-что объясню. И речи не идет о том, чтобы отправить тебя в интернат или приют для детей-сирот...

— А что тогда?

— Временная опека. Это значит, что ты будешь жить в хорошем месте, у людей, которых государство назначит твоими опекунами...

— А если я не хочу? — сказал я так громко, что люди на нас стали оглядываться.

— Послушай, — сказал Энрике, откинувшись на спинку стула и посигналив официанту, чтоб тот долил ему кофе, — для подростков, попавших в беду, у нас есть специальные кризисные центры. Это замечательные места. Для нас с тобой это один из возможных сценариев. Потому что в большинстве случаев вроде твоего...

— Я не хочу в приют!

— И правильно, пацан, — громко сказала девчонка с розовыми волосами за соседним столиком. В “Нью-Йорк Пост” недавно только и писали, что о Джонтее и Кешоне Дайвенсах, одиннадцатилетних близнецах, которых насильничал и морил голодом приемный отец, как раз где-то недалеко от Морнингсайд-Хайтс.

Энрике притворился, что ничего не слышал.

— Слушай, мы хотим тебе помочь, — сказал он, сложив руки на столе, — и готовы рассмотреть все варианты при условии, что ты будешь под присмотром и обеспечен всем необходимым для жизни.

— Вы не сказали, что я не смогу вернуться домой!

— Ну, городские кризисные центры сейчас перегружены — *sí, gracias*^[18], — сказал он официанту, который подлил ему кофе, — поэтому, особенно в твоем случае, мы, вероятно, сможем получить разрешение на то, чтобы временно разместить тебя где-то в другом месте.

— Понимаешь, о чем он? — корейка постучала ногтем по пластиковой столешнице, чтобы привлечь мое внимание. — Никто тебя не запишет в приют, если с тобой может какое-то время пожить кто-то из ваших знакомых. Ну или наоборот.

— Какое-то время? — повторил я. Из всего, что она сказала, я только это и понял. — Ну, есть кто-то, у кого бы ты мог спокойно пожить денек-другой, кому мы можем сейчас позвонить? Кому-нибудь из учителей? Другу семьи?

Отчего-то я дал им номер Энди Барбура — первое, что пришло в голову, может, конечно,

потому, что это был первый номер телефона, который я заучил наизусть — после домашнего. Хоть мы с Энди и были лучшими друзьями в начальной школе (ходили вместе в кино, в гости друг к другу с ночевкой, вместе занимались ориентированием в летней школе в Центральном парке), я до сих пор не могу понять, почему первым назвал его, дружить-то мы больше не дружили. После начальной школы мы как-то отделились друг от друга и теперь не виделись месяцами.

— Барбур, через “у”, — записал Энрике. — А что это за люди? Ваши друзья?

Да, отвечал я, я их знаю чуть ли не всю жизнь. Барбуры живут на Парк-авеню. Мы с Энди — лучшие друзья с третьего класса.

— У его отца крутая работа, на Уолл-стрит, — начал было я и быстро заткнулся. Вспомнил вдруг, что отец Энди какое-то очень неопределенное время провел в психбольнице в Коннектикуте, где лечился от “переутомления”.

— А его мать?

— Они с моей мамой очень дружат.

(Правда, да не совсем. Они, конечно, прекрасно общались, но для того, чтобы быть подругой такого персонажа светской хроники, как миссис Барбур, маме недоставало ни денег, ни связей.)

— А работает-то она кем?

— Она занимается благотворительностью, — ответил я, растерянно помолчав. — Ну, типа, знаете, выставки антиквариата в “Арсенале”?

— То есть домохозяйка?

Я кивнул, обрадовавшись, что у нее так ловко нашлось нужное слово — технически, это, конечно, было верно, но тем, кто знал миссис Барбур, и в голову не пришло бы так ее назвать.

Энрике размашисто расписался.

— Посмотрим. Обещать пока ничего не могу, — сказал он и, щелкнув ручкой, сунул ее обратно в карман. — Но, если ты хочешь, мы можем отвезти тебя к этим людям прямо сейчас, чтобы ты пока, пару часиков, побыл у них.

Он слез с диванчика и вышел на улицу. Из окна я видел, как он расхаживает взад-вперед по тротуару, говорит по телефону, заткнув другое ухо пальцем. Потом он набрал другой номер — этот звонок был куда короче. Мы заскочили в квартиру — буквально на пару минут, я всего-то успел схватить школьную сумку и какую-то первую попавшуюся под руку и неподходящую одежду, потом — снова к ним в машину (“Ты там пристегнулся?”), и, прижавшись щекой к холодному стеклу, я глядел, как по всему пустому рассветному каньону Парк-Авеню вспыхивают зеленым огни светофора.

Энди жил на севере, в Ист-Сайде, в районе Шестидесятых, в шикарном доме, где вестибюль был весь будто из какого-нибудь фильма с Диком Пауэллом, а швейцары — почти поголовно ирландцы — носили белые перчатки. Работали они там все с незапамятных времен, поэтому-то я вспомнил парня, который открыл нам дверь: Кеннет, из ночной смены. Из швейцаров он был самый молодой — бледный как смерть, плохо выбрит, иногда притормаживал из-за того, что работал ночами. Парень он был приятный — бывало, он латал нам с Энди футбольные мячи и давал дельные советы по поводу того, как вести себя со школьными задирами, — но все знали, что он выпивает; я учуял кислый запах пива и сна, когда он посторонился, отворив для нас высоченные двери и положив начало взглядам из серии “*Эх, пацан, соболезную*”, которыми меня завалят в следующие месяцы.

— Вас ждут, — сказал он соэработникам. — Поднимайтесь.

Нам открыл мистер Барбур — сначала выглянул в щелочку, потом распахнул дверь.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал он, посторонившись.

Выглядел мистер Барбур самую малость чудновато, было в нем что-то такое бледно-серебристое, будто бы в Коннектикуте, как он говорил — на “ку-ку-ферме”, его долечили до раскаленной прозрачности; глаза у него были странного зыбко-серого цвета, а волосы — снежно-белые, отчего он казался старше, чем есть — не сразу замечаешь, что лицо у него молодое, румяное, отчасти даже мальчишеское. Красные щеки и вытянутый, несовременный нос в сочетании с ранней сединой делали его похожим на добродушного отца-основателя второго ряда, не самого известного участника Континентального конгресса, который вдруг телепортировался в XXI век. Судя по всему, вернувшись вчера из офиса, он так и не переоделся: на нем была мятая сорочка и брюки от явно недешевого костюма, которые выглядели так, будто бы он схватил их с пола возле кровати.

— Ну, заходите, — бодро сказал он, потирая глаза кулаком. — Привет, малыш, — сказал он мне: я хоть и плохо соображал, но все равно вздрогнул — таким неожиданным было это его “малыш”.

Он повел нас в квартиру, шлепая босыми ногами по мраморному полу передней. За ней начиналась богато обставленная гостиная (кругом набивной ситец и китайские вазы), где, казалось, еще была глубокая полночь: тускло горели лампы под шелковыми абажурами, на стенах — огромные темные полотна с морскими сражениями, солнечный свет не пропускали плотные шторы. Там, возле кабинетного рояля и цветочной композиции размером с чемодан, стояла миссис Барбур в пеньюаре до полу и разливала на серебряном подносе кофе по чашечкам.

Она обернулась к нам с приветствием, и я почувствовал, как внимательно соцработники изучают и обстановку квартиры, и ее саму. Миссис Барбур принадлежала к высшему обществу, еще из старинных голландских семей, и была такой бледной, невозмутимой и однообразной, что, казалось, будто из нее из нее выкачали часть крови. Она была образцом хладнокровия, ее никогда ничего не раздражало и не расстраивало, и хоть красавицей она не была, ее покойность — сила ее неподвижности — притягивала взгляды не хуже красоты: стоило ей войти в комнату, и вокруг нее все будто бы перестраивалось до самых молекул. Стоило ей войти — и к ней, словно к ожившему модному эскизу, устремлялись все взгляды, а она рассеянно скользила мимо, будто бы и не замечая, какая за ней вихрится буря; глаза у нее были широко расставленные, уши — маленькие, высокие, плотно прижатые к голове, а тело — удлиненное, узкое, будто у элегантной куницы. (Энди достались все ее черты, но в несуразных пропорциях — и ничего от ее куньей грациозности.)

В прошлом от ее сдержанности (или холодности, это уж как посмотреть) мне, бывало, делалось неловко, но в то утро я был только благодарен за ее бесстрастность.

— Привет. Мы тебя поселим с Энди, — сказала она безо всяких вступлений. — Боюсь, только в школу ему еще рановато вставать. Если хочешь прилечь, комната Платта целиком к твоим услугам.

Платт был старшим братом Энди и учился в школе-пансионате.

— Помнишь, где его комната, да?

Я ответил, что помню.

— Есть хочешь?

— Нет.

— Ну ладно. Скажи, чем мы еще можем тебе помочь.

Я чувствовал, как они все смотрят на меня. Моя головная боль переросла все в комнате. В круглом зеркальце, висевшем над головой миссис Барбур, гостиная отражалась гротескной миниатюрой: китайские вазы, кофейный поднос, переминающиеся с ноги на ногу соцработники.

Наконец мистер Барбур спас ситуацию.

— Ну, пошли, давай-ка тебя уложим, — сказал он, приобняв меня за плечи и потянув на выход. — Нет, сюда, в эту сторону — на корму, на корму! Ага, сюда.

До этого в комнате Платта я был всего один раз — несколько лет тому назад, и тогда Платт, который был чемпионом по лакроссу и немного психопатом, пригрозил, что все кишки из нас выбьет. Когда Платт жил дома, то днями напролет торчал у себя в комнате, закрывшись на замок (Энди мне рассказал, что он там курил траву). Теперь, когда Платт уехал в Гротон, со стен исчезли все его плакаты, и в комнате было очень чисто и пусто.

В комнате на полу лежали гантели и стопки старых номеров “Нейшнл Джеографик”, стоял пустой аквариум. Мистер Барбур, выдвигая и задвигая ящики, бормотал какую-то чепуху:

— Ну-ка, что у нас тут, посмотрим-ка... Простыни! И... еще простыни! Ты уж прости, ладно, я сюда вообще не захожу — ага! Плавки. Ну, сегодня они нам не понадобятся, верно?

Покопавшись в третьем ящике, он наконец отыскал новую пижаму — еще с ярлычками, уродливую до жути, из кислотно-голубой фланели с оленями, неудивительно, что ее так никто и не надел.

— Ну вот, — сказал он, пробежавшись пальцами по волосам и нетерпеливо поглядывая на дверь, — теперь я пойду. Господи, это ж надо такому было приключиться. Тебе, наверное, очень тошно. Поэтому лучше всего тебе сейчас как следует выспаться. Устал? — спросил он, пристально глядя на меня.

Устал ли я? Сна у меня не было ни в одном глазу, и в то же время какая-то часть меня настолько занемела и остекленела, что я был чуть ли не в коме.

— Может, тебе составить компанию? Хочешь, я разожгу камин в соседней комнате? Ты только скажи, чего хочешь.

Он спросил — и меня обдало волной острого отчаяния, потому что мне было так плохо, что он ничем не мог мне помочь, и по его лицу я понял, что он это и сам знает.

— Мы тут, за стеной, если вдруг понадобится, ну, то есть я-то скоро уйду на работу, но кто-нибудь здесь да будет. — Его бледный взгляд заметался по комнате, потом снова остановился на мне. — Может, оно и неправильно, конечно, но в сложившихся обстоятельствах я лично не вижу ничего дурного в том, чтобы налить тебе, как говорил мой отец, маленький глоточек. Если ты сам, конечно, хочешь. Но, разумеется, не хочешь, — поспешно прибавил он, заметив, что я растерялся. — Неуместное предложение. Ладно, забудем.

Он шагнул ко мне и на пару неловких секунд я испугался, что он прикоснется ко мне или обнимет. Но вместо этого он хлопнул в ладоши, потер руки:

— Ну, в общем... Мы очень рады, что ты поживешь у нас, и надеюсь, что тебе у нас будет хорошо. Если что-то нужно — говори, не стесняйся, ладно?

Едва он вышел, как за дверью послышались перешептывания. Затем в дверь постучали.

— Тут к тебе пришли, — сказал мистер Барбур и скрылся.

В комнату прошлепал Энди: он хлопал глазами, прилаживал на нос очки. Было ясно, что его разбудили и вытащили из постели. Пружины шумно заскрипели, когда он уселся рядом со мной на краешек Платтовой кровати, глядя не на меня, а на противоположную стену.

Он прокашлялся, поправил очки. Последовало долгое молчание. В батареях что-то настойчиво шипело и позвякивало. Его родители смылись так быстро, словно услышали пожарную тревогу.

— М-да, — сказал он наконец невыразительным жутковатым голосом. — Вот это ад.

— Ага, — ответил я.

И мы с ним сидели и молчали, разглядывая темно-зеленые стены Платтовой комнаты и прямоугольные следы от плакатов с обрывками скотча. Ну а что тут еще скажешь?

3.

Даже теперь, стоит мне вспомнить то время, и меня захлестывает удушливой безнадежностью. Все было ужасно. Мне наперебой совали попить холодненького, еще один свитер, еду, которая в меня не лезла: бананы, пирожные, сэндвичи, мороженое. Когда ко мне обращались, я отвечал “да” или “нет” и все глядел в пол, чтобы никто не видел, что я плакал.

Хоть по нью-йоркским меркам квартира у Барбуров была огромная, находилась она на нижнем этаже, и свет туда практически не проникал, даже с Парк-авеню. День там, конечно, никогда не наступал — да и ночь тоже, но отсвет ламп от полированного дуба придавал обстановке атмосферу беззаботности и уюта, будто в закрытом клубе. Друзья Платта прозвали его квартиру “склепаторием”, а отец, который пару раз забирал меня после ночевки у Энди, называл ее “У Фрэнка Кэмпбелла”, по названию похоронного агентства. Но для меня ее увесистая, пышная, довоенная мрачность стала спасением, в ней легко можно было укрыться, чтоб на тебя никто не пялился и не приставал с разговорами.

Меня то и дело кто-то навещал: само собой, соцработники и бесплатный психолог, которого мне назначило государство, и еще мамины коллеги (кое-кого из них, например, Матильду, я так здорово передразнивал, чтобы насмешить маму), и целая толпа университетских друзей и ее знакомых из модельного бизнеса. Приходил слегка знаменитый актер по имени Джед, который иногда отмечал с нами День благодарения (“По мне, так твоя мать была царицей Вселенной”), Кика, немного припанкованная тетка в оранжевом пальто, которая рассказала мне, как они с мамой однажды в Ист-Виллидж, оставшись почти без гроша, закатали чумовой обед на двенадцать человек, не истратив и двадцатки (на стол, помимо всего прочего, пошли пакетики со сливками и сахаром, утянутые из кофейни, и зелень, которую они потихоньку надергали из ящика на соседском подоконнике). Аннета, вдова пожарного, старушка за семьдесят, которая была маминной соседкой, когда та жила в Нижнем Ист-Сайде, принесла коробку печенья из итальянской булочной неподалеку от того места, где они с мамой жили — точно такое же рассыпчатое печенье с кедровыми орехами она приносила, когда навещала нас на Саттон-плейс. Еще заходила Чинция, которая, едва увидев меня, разрыдалась и попросила мамино фото, чтобы положить его в бумажник.

Если визиты затягивались, миссис Барбур их прерывала, говоря, что я быстро утомляюсь, но, как я подозревал, еще и потому, что не знала, как вести себя с людьми вроде Чинции или Кики, которые не спешили освободить ее гостиную. Минут через сорок пять

она приходила и тихонько становилась в дверях.

Если они не понимали намека, она благодарила их за то, что навестили меня — очень вежливо, но всем сразу становилось ясно: пора уходить. (Голос у нее, как и у Энди, был невыразительный и бесконечно далекий — даже когда она стояла к тебе вплотную, казалось, что сигнал идет с Альфа Центавра.)

Вокруг меня, мимо меня — дом жил своей жизнью. Каждый день то и дело тренькал дверной звонок: домработницы, няньки, официанты из кейтеринга, репетиторы, преподаватели фортепиано, светские львицы и мужчины в мокасинах с кисточками — сотрудники благотворительных фондов, которыми занималась миссис Барбур. Младшие брат и сестра Энди, Тодди и Китси, носились по мрачным коридорам вместе со своими школьными друзьями. Частенько после обеда на чашечку чая или кофе забегали пахнущие духами дамы с пакетами из магазинов; по вечерам пары в вечерних нарядах с бокалами вина или минералки собирались в гостиной, куда каждую неделю доставляли по новой цветочной композиции от модного флориста с Мэдисон-авеню и где последние номера “Архитекчурал Дайджест” и “Нью-Йоркера” были выложены на журнальном столике идеальным веером.

Если мистеру и миссис Барбур и доставило массу неудобств то, что на них почти без предупреждения свалился еще один ребенок, у них хватило такта этого не показывать. Мать Энди, со своими нарочито неброскими украшениями и улыбкой, похожей на точку в разговоре, была из тех женщин, которые, если им надо, и до мэра дозвонятся, и, казалось, могла обойти любые препоны нью-йоркской бюрократии. При всем моем горе и смятении, я чувствовал, что она дергала за какие-то ниточки за кулисами, облегчала мне жизнь, защищала меня от неприглядных сторон работы социальных служб — и еще, теперь я в этом почти уверен, от журналистов. Все звонки с настойчиво трезвонившего домашнего телефона сразу перенаправлялись на ее мобильный. Еще были перешептывания, наставления швейцарам. Как-то раз, когда Энрике в очередной раз пытал меня насчет отца — от этих допросов у меня то и дело подкатывали слезы, он будто из меня расположение ракетных баз в Пакистане вытягивал, — она выпроводила меня из комнаты и ровным, сдержанным тоном положила этим допросам конец. (“*Ясно* же, что мальчик понятия не имеет, где отец, да и мать не знала тоже... Понимаю, что вы хотите его найти, но ведь очевидно же, что отец этого не хочет и *принял меры*, чтобы его нельзя было найти... алименты он не платит, уехал, оставив после себя кучу долгов, он, можно сказать, сбежал, никому и слова не сказав, так что, по правде сказать, я не совсем понимаю, чего вы добьетесь, если отыщете этого образцового родителя и законопослушного гражданина... да, да, конечно, это все прекрасно, но если его кредиторы и ваши службы не могут его найти, то мне не слишком понятно, зачем нужно и дальше мучить ребенка? Давайте условимся, что этого больше не повторится, хорошо?”)

Домочадцам военное положение, на которое перешел дом после моего приезда, доставило определенные неудобства: например, прислуге во время работы запретили слушать новостную радиостанцию “1010 ВИНС” (“Нельзя, нельзя”, — сказала кухарка Этта, метнув упреждающий взгляд в мою сторону, когда одна из домработниц хотела было включить радио), а по утрам “Таймс” сразу уносили мистеру Барбуру и не давали больше никому почитать. Очевидно было, что раньше так не делали: “Кто-то *снова* забрал газету!”, — принималась выть младшая сестра Энди, Китси, чтобы потом виновато смолкнуть под взглядом матери, и вскоре я понял — газеты исчезали в кабинете мистера Барбура, так как все сочли, что мне лучше не видеть того, о чем там пишут.

Хорошо хоть Энди, который и раньше делил со мной все невзгоды, понимал, что меньше всего на свете я хотел общаться. Тогда, в самые первые дни, ему разрешили остаться со мной и не ходить в школу. Мы с ним сидели за шахматной доской в его душной клетчатой комнате с двухъярусной кроватью, где во время учебы в начальной школе я так часто спал с субботы на воскресенье, и Энди играл за нас обоих, потому что я был как в тумане и с трудом вспоминал, как какая фигура ходит.

— Так, — говорил он, поправляя очки на переносице. — Вот что. Ты точно хочешь туда пойти?

— Куда пойти?

— Я, конечно, понимаю, — отвечал Энди своим пришепетывающим, невыносимым голосом, который так и вынуждал школьных задира годами спихивать его со школьного крыльца, — твоя ладья под ударом, совершенно верно, но я бы посоветовал тебе повнимательнее поглядеть на свою королеву — нет-нет, на свою королеву. D5.

Ему пришлось меня окликнуть, чтобы я очнулся. Я снова и снова переживал тот миг, когда мы с мамой взлетаем по ступеням в музей. Ее полосатый зонтик. Нам в лица сыплет дождем. Я понимал, что случилось непоправимое, и в то же время мне все казалось, что должен быть какой-то способ вернуться назад, под тот дождь и все изменить.

— Тут недавно, — сказал Энди, — кто-то, по-моему даже этот Малкольм как его там или какой-то типа уважаемый писатель вроде него, да неважно, так вот, недавно он в “Сайенс Таймс” написал огромную статью про то, что потенциальных шахматных партий больше, чем песчинок во всем мире. Просто позор, когда научный журналист, который пишет для крупной газеты, начинает распространяться на такую очевидную тему.

— Точно, — сказал я, с усилием оторвавшись от своих размышлений.

— Можно подумать, кто-то прямо не знает, что число песчинок на планете хоть и огромно, но все же не бесконечно. До чего глупо, что кто-то вообще решился открыть рот по такому поводу, типа — *Сенсация!* Выступили, как будто это какое-то тайное знание.

В начальной школе мы с Энди подружились при довольно-таки трагических обстоятельствах: из-за высоких оценок нас с ним перевели в класс постарше. Теперь-то все признают, что делать этого не стоило — хоть и имеют в виду совсем другое.

Тогда мы год путались под ногами у мальчишек, которые были старше и крупнее нас, ставили нам подножки, толкали нас и защемляли нам пальцы дверями шкафчиков, рвали наши тетрадки с домашней работой и плевали нам в молоко, которые звали нас *зубрилой* и *недрилой* (а мое имя еще и, к сожалению, легче легкого превращалось из Теодора в Теодрота), целый год (год нашего вавилонского пленения, как сказал Энди своим унылым голосом) мы с ним барахтались бок о бок, будто пара муравьев-слабаков под увеличительным стеклом, получая по ногам и ниже пояса, превращаясь в изгоев, на обед забиваясь в самый темный угол, чтобы не прилетело в лицо пакетиками кетчупа и куриными наггетсами.

Почти два года он был моим лучшим другом — и наоборот. Теперь, как вспомню те времена, делается стыдно и тоскливо: наши войнушки с автоботами и космическими кораблями из “Лего”, как мы с ним притворялись персонажами из самого первого “Стар Трека” (я был Кирком, Энди — Споком), прячась за ними, пытаясь превратить наши мучения в игру. *Капитан, похоже, место, где эти пришельцы нас держат, — симулякр одной из ваших школ для человеческих детей на Земле.*

До того как я — с клеймом “одаренного ребенка” — очутился в плотной, агрессивной толпе больших мальчишек, меня в школе никогда особо не дразнили и не унижали. А вот к

бедняге Энди все без конца цеплялись еще до того, как он перескочил в класс постарше: тощий, дерганый, бледнокожий до прозрачности, он не переносил лактозу и любил вплетать в самый обычный разговор слова вроде “тлетворный” и “хтонический”. Он был умненький, но неуклюжий, а из-за невыразительного голоса и привычки дышать ртом, потому что нос у него был вечно заложен, он казался далеко не гением, а наоборот — дурачком. Среди своих резвых, ловких и зубастых братьев и сестер, деливших время между друзьями, спортивными тренировками и школьными факультативами, он выделялся, как задрот, который по ошибке забрел на поле для лакросса.

И если я еще как-то сумел оправиться от ужасов пятого класса, то Энди этого не удалось. Вечером в пятницу и субботу он сидел дома, его никогда не звали на вечеринки или потусоваться в парке. Насколько я знал, кроме меня друзей у него и не было. И хотя благодаря матери он одевался не хуже школьных звезд (было время, когда он даже контактные линзы носил), этим ему провести никого не удалось, злобные шутники, которые еще помнили его с той злополучной начальной школы, по-прежнему отвешивали ему пинков и обзывали “Трипио” из-за того, что давным-давно он имел неосторожность появиться в школе в футболке со “Звездными войнами”.

Разговорчивым Энди никогда не был, даже в детстве, разве что изредка его прорывало (наша дружба по большей части представляла собой молчаливый обмен комиксами). Годы школьной травли сделали его еще более зажатым и необщительным — он стал употреблять меньше слов из лексикона Лавкрафта и все больше зарываться в глубины физмата. Меня математика никогда особенно не интересовала — я был, что называется, гуманитарием, возложенных на меня академических ожиданий я не оправдал по всем пунктам и вкалывать ради оценок не собирался, а вот Энди был в классе первым учеником и по всем предметам взял интенсив. (Энди, как и Платту, светил Гротон, и от этой перспективы его трясло с третьего класса, однако родители побоялись — вполне оправданно — отсылать в школу-пансионат сына, которого так травили одноклассники, что однажды чуть не задушили на перемене, накинув ему на голову целлофановый пакет. И это было не единственной причиной — я и узнал-то про “ку-ку-ферму” мистера Барбура, потому что Энди со свойственной ему бесстрастностью рассказал мне, что родители опасались, как бы он не унаследовал от отца его, как он выразился, чувствительность.)

Энди извинялся, что ему приходится заниматься, пока он сидит со мной и не ходит в школу. “К сожалению, это необходимо”, — сказал он, шмыгнув носом и вытерев его рукавом. Учеба требовала от него серьезной отдачи (“Это интенсивный спуск в ад”), он не мог и дня пропустить. И пока он корпел над какими-то бесконечными домашними заданиями (по химии, матанализу, истории Америки, английскому, астрономии, японскому), я сидел на полу, прислонившись к его гардеробу и считал про себя: в это время три дня назад мама еще была жива, в это время четыре дня назад, неделю назад. Мысленно я перебрал все, что мы с ней ели незадолго до ее смерти: наш последний поход в тот греческий ресторанчик, последний раз в “Шан-Ли Палас”, последний ужин, который она мне приготовила (спагетти карбонара), и предпоследний (“цыпленок по-индийски” — блюдо, которое ее научила готовить мать, когда они еще жили в Канзасе).

Иногда, чтобы казалось, будто я чем-то занят, я листал старые выпуски “Стального алхимика” или комиксы по произведениям Герберта Уэллса, которые лежали у Энди в комнате, но не понимал даже, что нарисовано на картинках. В основном я таращился на шлепавших по карнизу голубей, а Энди заполнял бесконечные ячейки в своей прописи по

хирагане, дергая под столом коленкой.

Комната Энди — изначально просторная спальня, которую Барбуры разгородили надвое — выходила окнами на Парк-авеню. В час пик на пешеходных переходах ревели клаксоны, а в окнах напротив золотом пылал свет, угасая тогда же, когда редело движение на улицах.

По ночам (с фосфоресцентными фонарями и лиловыми городскими ночами, которые так и не темнели до конца) я ворочался с боку на бок, низкий потолок так нависал над верхней койкой, что, бывало, я просыпался с чувством, будто лежу не на кровати, а под ней.

Неужели вообще было возможно скучать по кому-то так, как я скучал по маме? Мне до того ее недоставало, что хотелось умереть, мне ее остро, физически не хватало — как воздуха под водой. Я лежал без сна и пытался вспомнить про нее все самое лучшее, запечатлеть ее в мозгу, чтобы никогда не забыть, но вместо дней рождения и прочего веселья в голове всё всплывали воспоминания вроде того, как за несколько дней до гибели она остановила меня в дверях и сняла ниточку со школьного пиджака. Отчего-то так я помнил ее яснее всего: сдвинутые брови, как именно она протянула ко мне руку, всё-всё. Пару раз бывало, когда я метался ото сна к бодрствованию, я вдруг подскакивал в кровати от ее голоса у меня в голове, от фраз, которые она когда-то говорила, но я уже не помнил, как-то: *Брось-ка мне яблоко*, или *Интересно, а пуговицы должны быть сзади или спереди?* или *Как потрепала жизнь этот диван!*

Свет с улицы разлетался по полу черными лентами. Я уныло размышлял о том, что всего в паре кварталов отсюда находится моя пустая спальня, моя собственная узкая постель под старым красным покрывалом. Мерцают звезды ночника-планетария, на стене открытка с кадром из “Франкенштейна” Джеймса Уэйла. Птицы снова вернулись в парк, зацвели нарциссы, обычно в это время года, если стояла хорошая погода, мы иногда по утрам просыпались пораньше и не садились на автобус до Вест-Сайда, а шли пешком через парк. Если бы я только мог вернуться назад и все изменить, каким-то образом не дать этому произойти. Ну почему я не настоял на том, чтобы вместо музея мы пошли завтракать? Почему мистер Биман не попросил нас прийти во вторник или в четверг?

На второй или третий вечер после маминой смерти — когда-то после того, как миссис Барбур отвела меня к врачу по поводу моей головной боли — у Барбуров в квартире была запланирована важная вечеринка, отменять которую было уже поздно. Были какие-то перешептывания, беготня и хлопоты, которые я едва замечал.

— Мне кажется, — сказала миссис Барбур, войдя в комнату Энди, — вам с Тео куда приятнее будет тут посидеть.

Несмотря на ее непринужденный тон, было ясно — это не предложение, а приказ.

— Будет такая скукота, не думаю, что вам понравится. Я попрошу Этту, чтоб принесла вам с кухни пару тарелок.

И мы с Энди сидели рядышком на нижнем ярусе кровати, ели с бумажных тарелок канапе с креветками и артишоками — точнее, он ел, а я сидел с нетронутой тарелкой еды на коленях. Он поставил *DVD*, какой-то экшен со взрывающимися роботами и градом огня и металла. Из гостиной: звон бокалов, запах свечного воска и духов, то и дело голос звякнет хрустально смехом. Пианист блестяще играл джазовую аранжировку *It's All Over Now, Baby Blue*^[19] — казалось, будто она плывет к нам из параллельного мира.

Все потерялось, я исчез с карты: меня вымотали блуждания по чужому дому и чужой семье, и я был вялый, заторможенный, плаксивый даже, будто заключенный, которому не давали спать несколько дней. Снова и снова я думал: “Меня уже ждут дома”, а затем — в

Дня через четыре, может, через пять, Энди нагрузил книгами свой растянутый рюкзак и вернулся в школу. Весь тот день и следующий я просидел у него в комнате, перед включенным каналом “ТСМ — Классика кинематографа”, потому что мама всегда его смотрела после работы. Показывали подборку экранизаций Грэма Грина: “Министерство страха”, “Человеческий фактор”, “Поверженный идол”, “Наемный убийца”. На второй вечер — я как раз ждал, когда начнется “Третий человек” — в комнату заглянула миссис Барбур (с ног до головы в Валентино, по пути на какое-то мероприятие в музее Фрика) и объявила, что завтра я иду в школу.

— Так кто угодно расклеится, — сказала она. — Сидишь тут один. Тебе это не на пользу.

Я не знал, что сказать. С тех пор как умерла мама, пожалуй, самое нормальное, что я делал, так это смотрел по телику кино в одиночестве.

— Тебе сейчас хорошо бы снова втянуться в какой-то режим. Так что завтра. Знаю, Тео, тебе так не кажется, — сказала она, когда я ничего не ответил, — но полегче станет только когда ты чем-нибудь себя займешь.

Я упорно уставился в телевизор. В последний раз я был в школе накануне маминой гибели, и вернуться в школу — вроде как официально признать, что мама умерла. Вернусь — и это станет общепризнанным фактом. Хуже того, сама мысль о возвращении к любому привычному распорядку казалась предательской, неправильной.

Стоило вспомнить — и я всякий раз вздрагивал, как от очередной пощечины: она умерла. Каждое новое событие, да каждый мой поступок на всю оставшуюся жизнь будет все больше и больше разделять нас с ней: дни, в которых ее больше не будет — вечно растущее между нами расстояние. С каждым моим новым днем она будет от меня все дальше и дальше.

— Тео...

Я вздрогнул, посмотрел на нее.

— Шажок за шажком. По-другому никак.

На следующий день обещали киномарафон, посвященный шпионским фильмам про Вторую мировую (“Каир”, “Скрытый враг”, “Кодовое имя: Изумруд”), так что мне очень хотелось остаться дома и его посмотреть. Вместо этого я вылез из постели, когда мистер Барбур просунул голову в дверь, чтобы нас разбудить (“Рота, подъем!”), и вместе с Энди поплелся к автобусной остановке.

Шел дождь, и было довольно холодно, так что миссис Барбур заставила меня надеть сверху позорное старое пальто Платта. Младшая сестра Энди, Китси, порхала впереди в розовом плаще, шлепая по лужам и притворяясь, будто она не с нами.

Я знал, что все будет ужасно, и все было ужасно, с самой секунды, когда я вошел в ярко освещенный коридор и уловил знакомый запах старой школы: лимонный дезинфектант и, похоже, несвежие носки. В коридоре висели написанные от руки объявления: дополнительные тренировки по теннису и набор в кулинарный кружок (записываться здесь), пробы в спектакль “Странная пара”, поход на остров Эллис, еще можно приобрести билеты на концерт “Весна-на-на-на” — с трудом верилось, что мир рухнул, а кого-то еще волнуют

эти дурацкие занятия.

Как странно: когда я был тут в последний раз, она еще была жива. Я все думал об этом — и всякий раз по-новому: в последний раз, когда я открывал шкафчик, в последний раз, когда я брал в руки этот гребаный дебильный учебник по “Основам биологии”, в последний раз, когда я видел, как Линди Мейзель мажется этим своим блеском для губ с пластиковой палочкой. Не верилось, что я никак не могу потянуться вслед за этими движениями в мир, где она еще жива.

— Соболезную.

Это я слышал и от знакомых, и от тех, кто мне в жизни и слова не сказал. Люди, которые болтали и смеялись в коридорах, умолкали, когда я проходил мимо, и смотрели на меня с сочувствием или недоумением. Были и те, кто меня полностью игнорировал, как здоровые собаки, бывает, перестают замечать больного или раненого пса в стае, и, резвясь, проносились мимо по коридорам, как будто меня и вовсе не существовало.

В частности, меня старательно избегал Том Кейбл, будто я был девчонкой, которую он бросил. В обед его нигде не было видно. На испанский он завалился уже после начала урока, пропустив неловкую сцену, когда все столпились возле моей парты, чтобы выразить соболезнования, и сел не рядом со мной, как обычно, а впереди, ссутулившись и вытянув ноги в проход. Дождь барабанил по подоконникам, пока мы сражались с переводом каких-то дичайших фраз, фраз, которыми гордился бы Сальвадор Дали: про лобстеров и пляжные зонтики и про Марисоль с длинными ресницами, которая едет в школу на зеленом, как лягушка, такси.

После урока я нарочно подошел к нему поздороваться, пока он собирал учебники.

— А, здорово, ты как, — сказал он прохладно, откинувшись назад и выпендренно выгнув бровь. — Да, уж рассказали, чо.

— Ага. — У нас так было заведено: никаких соплей, шутки только для своих.

— Невезуха. Вот уж прилетело.

— Спасибо.

— Блин, ты б прикинулся больным. Говорил же тебе! Моя мать тогда тоже на говно изошла. Аж потолок забрызгало! Ну вот да, — сказал он, дернув плечом, когда за его словами последовала неловкая пауза, и заоглядывавшись — вверх, вниз, по сторонам — с таким видом “Кто, я?”, будто кинул снежок с камнем внутри.

— Ваще. Короче, — сказал он таким — “ладно, проехали” тоном, — а костюм зачем нацепил?

— Что?

— Ну-у, — он шагнул назад, иронически оглядел мое клетчатое пальто, — определенно, это заявка на победу в конкурсе двойников Платта Барбура.

И помимо собственной воли — вдруг, после стольких дней ужаса и оцепенения, будто не сдержав туреттовского спазма — я рассмеялся.

— Шутка засчитана, Кейбл, — отозвался я противным тягучим голосом Платта. Мы с ним оба здорово умели передразнивать людей и, бывало, подолгу разговаривали чужими голосами, изображая тупых телеведущих, плаксивых девчонок, сюсюкающих тупорылых преподав. — Завтра я оденусь тобой.

Но Том ничего на это не ответил, не подхватил шутку. Не проявил интереса.

— Эээ, кто знает, — сказал он, слегка дернув плечом, ухмыльнувшись. — Потом, может.

— Ладно, потом.

Я разозлился: да что за херня с ним творится? С другой стороны, взаимные насмешки и оскорбления входили в программу нашего с ним долгоиграющего саркастического стэндапа, забавного только для нас самих; я не сомневался, что он разыщет меня после английского или нагонит по пути домой — подбежит сзади и огреет по голове учебником алгебры.

Но этого не случилось. На следующее утро перед началом уроков он даже не взглянул в мою сторону, когда я поздоровался, и протиснулся мимо меня с таким каменным лицом, что я остолбенел. Стоявшие возле своих шкафчиков Линди Мейзель и Мэнди Квейф повернулись и уставились друг на друга, захихикав от изумления — *Ого!* Сэм Вайнгартен, с которым мы вместе сидели на лабораторках, покачал головой:

— Ну и мудак, — сказал он так громко, что все в коридоре обернулись. — Какой же ты мудак, Кейбл.

Но мне было наплевать, то есть я хотя бы не обиделся и не раскис. Наоборот, я был в ярости. Наша с Томом дружба всегда носила какой-то дикий, безумный характер, было в ней что-то безбашенное, шальное, опасное даже, и вот теперь прежний накал никуда не делся, но ток рванул к минусу, напряжение загудело в обратную сторону, и мне хотелось не ржать с ним в коридоре, а засунуть его башку в унитаз, повыдергать ему руки, до крови приложить его рожей об асфальт, заставить его жрать с земли мусор и собачье дерьмо.

Чем больше я об этом думал, тем больше злился, иногда доводил себя до такого состояния, что начинал расхаживать взад-вперед в ванной, бормоча себе под нос. Если бы Кейбл не наябедничал на меня мистеру Биману (“Я знаю, Тео, сигареты были не твои...”), если бы из-за Кейбла меня не отстранили от занятий... если бы маме тогда не пришлось отпрашиваться с работы... если бы мы не очутились в музее в тот роковой момент... даже мистер Биман за это извинялся — ну, типа. Потому что, да, конечно, с оценками у меня были проблемы (и еще со многим другим, о чем мистер Биман даже не догадывался), но с чего все началось-то, почему меня исключили, вся эта история с сигаретами — кто это все устроил? Кейбл. Не то чтоб я ждал от него извинений. На самом деле я б ему никогда про это и слова не сказал. Только — я теперь что, изгой? Персона нон грата? Он со мной даже не разговаривает? Я был поменьше Кейбла, но ненамного, и всякий раз, когда он начинал паясничать в классе — конечно, как же без этого — или проносился мимо меня по коридору со своими новыми друзьями Билли Вагнером и Тадом Рэндольфом (так, как мы с ним носились когда-то, вечно на повышенной скорости — чтобы словить чувство опасности, исступления) — я только и думал о том, как хорошо было бы измордовать его до крови, так чтоб девчонки смеялись, когда он будет в слезах от меня отползать: “*Ой, Тоооом! Ой-ей-ей, ты что, расплакался?*” (Изо всех сил стараюсь нарваться на драку, я однажды намеренно заехал ему с размаха по лицу дверью туалета и еще толкнул его в кулер, так что он аж выронил на пол свои мерзотные сырные чипсы, но он, вместо того чтоб наброситься на меня, чего я и добивался, только ухмылялся и уходил, не говоря ни слова.)

Конечно, не все меня избегали. В моем шкафчике лежала куча записок и подарков (в том числе от Изабеллы Кушинг и Мартины Лихтблау, самых популярных девчонок в нашем потоке), а Вин Темпл, мой заклятый враг с пятого класса, донельзя меня удивил, когда подошел и обнял так, что кости затрещали. Но в основном все обращались со мной с настороженной, почти пугливой вежливостью. На людях я не рыдал, не ходил с мрачным видом, но стоило мне присесть к кому-то во время обеда, и все умолкали на полуслове.

А вот взрослые, напротив, уделяли мне столько времени, что делалось аж не по себе. Мне советовали вести дневник, общаться с друзьями, склеить “памятный коллаж”

(дебильный совет, вот правда — от меня все шарахались, даже когда я вел себя нормально, поэтому мне меньше всего на свете хотелось еще привлекать к себе внимание, распространяясь о своих чувствах или мастера терапевтические поделки в кабинете искусств). Я какое-то непомерное количество времени провел в пустых классах (уставившись в пол, механически кивая головой) один на один с учителями, которые просили меня задержаться после урока или отводили в сторонку — поговорить. Учитель английского, мистер Нойшпайль, примостившись на краешке стола и поведав мне трагическую историю об ужасной смерти его матери от рук некомпетентного хирурга, похлопал меня по спине и подарил мне блокнот для записей; школьный психолог миссис Свонсон показала мне парочку дыхательных упражнений и сказала, что, возможно, горе меня отпустит, если я выйду на улицу и покидаюсь в деревья кубиками льда; и даже мистер Боровски (который преподавал математику и был не таким светлым человечком, как большинство учителей) подозвал меня в коридоре и тихонько, приблизив ко мне лицо чуть ли не вплотную, рассказал, каким виноватым себя чувствовал, когда его брат погиб в автокатастрофе. (Тема вины постоянно всплывала в этих разговорах. Неужели, как и я, мои учителя думали, что я виноват в смерти матери? Похоже на то.) Мистер Боровски так винил себя за то, что разрешил пьяному брату сесть за руль после вечеринки, что какое-то время даже подумывал о самоубийстве. Быть может, я тоже думал о самоубийстве? Нет, это не выход.

Я вежливо принимал все эти их советы — с примерзшей к лицу улыбкой и острым чувством нереальности происходящего. Многие взрослые принимали эту мою оцепенелость за добрый знак, особенно помню, как мистер Биман (донельзя чопорный британец в дурацком твидовом кепи, которого я, несмотря на всю его участливость, помимо своей воли возненавидел как человека, из-за которого умерла мама) отметил мое мужество и сообщил, что я, кажется, “чертовски хорошо держусь”.

А может быть, я действительно хорошо держался, не знаю. Я уж точно не ревел белугой, не пробивал кулаками стекло, не делал, в общем, ничего такого, что, как мне казалось, можно сделать, когда чувствуешь то же, что чувствовал я. Но иногда неожиданно горе накатывало волнами, так что я начинал задыхаться, а когда откатывало назад, я обнаруживал, что гляжу на просоленные обломки крушения, залитые таким ярким, таким рвущим душу и пустым светом, что с трудом верилось, будто мир когда-то не был мертв.

5.

Вот честно, меньше всего на свете я тогда думал о деде и бабке Декерах, да и с чего бы, ведь соцслужбы так и не смогли их сразу отыскать с той скудной информацией, которую я им дал. А потом вдруг к нам с Энди в дверь постучалась миссис Барбур и сказала:

— Тео, выйди-ка на минутку, нужно поговорить.

Что-то в ее голосе подсказывало мне, что новости у нее плохие, хотя сложно представить в моем-то положении, что еще могло быть хуже. Когда мы с ней уселись в гостиной — под трехметровой композицией из вербовых ветвей и яблоневого цвета, которую только что доставили от флориста, — она положила ногу на ногу и сказала:

— Звонили из соцслужбы. Им удалось связаться с твоими дедушкой и бабушкой. К несчастью, кажется, твоя бабушка нездорова.

Пару секунд я ничего не понимал:

— Дороти?

— Да, если ты ее так называешь.

— А-а. Она мне не родная бабушка.

— Понимаю, — ответила миссис Барбур так, будто на самом деле она ничего не понимала да и не желала понимать. — В любом случае. Похоже, она нездорова — что-то со спиной, как я поняла, — и твой дедушка за ней сейчас ухаживает. И, в общем, дело в том, то есть я уверена, что им ужасно жаль, но они сказали, что тебе сейчас нет смысла к ним туда ехать. Ну и жить у них, конечно, — прибавила она, когда я ничего не ответил. — Они предложили на какое-то время оплатить тебе номер в “Холидей Инн”, рядом с их домом, но это как-то не слишком практично, верно?

В ушах у меня неприятно жужжало. Под ее ровным серо-ледяным взглядом мне отчего-то стало ужасно стыдно. Одно дело — бояться, что тебя отправят к дедуле Декеру и Дороти и поэтому почти вытеснить их из памяти, другое — узнать, что ты им не очень-то и нужен.

На ее лице промелькнуло сочувствие.

— Ты только не расстраивайся, — сказала она. — И в любом случае не волнуйся. Мы уже договорились, что еще несколько недель ты поживешь у нас — хотя бы учебный год закончишь. Все согласны, что так будет лучше всего. Кстати, — сказала она, придвинувшись поближе, — какое прелестное кольцо. Семейная реликвия?

— Ммм, да, — ответил я. Не знаю почему, но я стал везде с собой носить кольцо того старика. В основном я вертел его в кармане куртки, где оно всегда лежало, но иногда, бывало, и носил на среднем пальце, хотя оно мне было великовато и прокручивалось.

— Как интересно. Со стороны матери или отца?

— С маминой, — сказал я после небольшой паузы — мне не понравилось, куда повернул разговор.

— Можно посмотреть?

Я снял кольцо и положил ей его на ладонь. Она поднесла его к лампе.

— Какое красивое, — сказала она. — Сердолик. И какая инталия. Греко-римская? Или это фамильный герб?

— Ммм, по-моему, герб.

Она разглядывала когтистого сказочного зверя.

— Похож на грифона. А может, крылатый лев.

Она перевернула его внутренней стороной к свету и присмотрелась.

— А гравировка?

Увидев мое замешательство, она нахмурилась.

— Только не говори, что никогда не замечал. Погоди-ка.

Она встала, подошла к письменному столу с кучей хитроумных ящичков и полочек и достала лупу.

— Получше моих очков для чтения, — сказала она, вглядываясь в кольцо через лупу. — Но все равно, надпись старая, с трудом читается.

Она приблизила лупу, потом отвела руку подальше.

— Блэквелл. Это тебе о чем-то говорит?

— Эээ... — на самом деле говорило, конечно, и даже не то чтоб словами, так, мысль, которая вспорхнула и исчезла, не успев оформиться.

— Тут еще какие-то греческие буквы. Очень интересно. — Она вернула мне кольцо. — Оно старое, — добавила она. — Это видно по патине на камне и тому, как оно сношено —

вот здесь, видишь? Во времена Генри Джеймса американцы покупали классические инталии такого типа в Европе и вставляли их в кольца. На память о Гран-туре.

— Но если я им не нужен, то где же я буду жить?

На секунду миссис Барбур растерялась. Но почти мгновенно оправилась и сказала:

— Ну, ты пока не думай об этом. Тебе и правда лучше всего будет пожить тут у нас подольше и закончить учебный год, согласишься. И вот что, — прибавила она, — ты поаккуратнее с этим кольцом, смотри не потеряй. Я же вижу, что оно тебе велико. Может, лучше, не носить его, а положить в какое-нибудь безопасное место.

6.

Но я продолжал носить кольцо. Точнее — я пропустил мимо ушей ее совет про безопасное место и продолжал таскать кольцо в кармане. В руке оно было тяжелым, когда я сжимал его в кулаке, золото нагревалось от тепла моей ладони, но камень оставался прохладным. Его старинная увесистость и сочетание строгости с яркостью меня отчего-то успокаивали, стоило мне сфокусировать на нем внимание, и кольцо странной силой, будто якорем, удерживало меня на месте, отгораживало меня от всего мира — но я все равно никак не желал вспоминать о том, откуда оно у меня взялось.

О будущем тоже думать не хотелось — хоть я и не рвался к новой жизни в мэрилендской деревне и ледяному гостеприимству бабки и деда Декеров, но теперь я всерьез забеспокоился насчет того, что же со мной будет. Всех до глубины души ужаснула идея с “Холидей Инн”, как если бы бабка с дедом предложили мне пожить у них в сарае на заднем дворе, но, по мне, так это был и не худший вариант. Мне всегда хотелось пожить в отеле, и хоть “Холидей Инн” был совсем не тем отелем, о котором мне мечталось, уж я бы как-нибудь справился: заказывал бы в номер гамбургеры, смотрел бы платные каналы по телику, торчал бы летом в бассейне — что, разве плохо?

Все (соцработники, психолог Дейв, миссис Барбур) твердили мне, что я никак не выживу один в “Холидей Инн” в мэрилендском пригороде и, как бы там ни было, а до этого точно никогда не дойдет — и, похоже, не понимали, что от этих их попыток меня подбодрить я только сильнее и сильнее нервничал.

— Главное — помни, — говорил прикрепленный ко мне психолог Дейв, — что бы ни случилось, пропасть тебе не дадут.

Дейву был тридцатник или около, он одевался во все черное, носил стильные очки и вечно выглядел так, будто пришел прямиком с поэтических чтений в каком-нибудь церковном подвале.

— Потому что в мире очень много людей, которых волнует твоя судьба и которые желают тебе только самого лучшего.

Я стал относиться с подозрением к людям, которые заводят разговоры о том, что для меня лучше, потому что как раз это говорили соцработники перед тем, как всплыла тема интерната.

— Но, по-моему, бабушка с дедушкой не так уж и плохо придумали, — сказал я.

— Придумали — что?

— Ну, про “Холидей Инн”. Может, мне там будет нормально.

— То есть дома с твоими бабушкой и дедушкой тебе будет не нормально? — спросил

Дейв, даже не поперхнувшись.

— Да нет! — вот я терпеть не мог, когда он начинал за меня додумывать.

— Ну ладно, давай тогда перефразируем, — он скрестил руки, задумался. — Почему тебе больше хочется жить в отеле, чем с ними?

— Я этого не говорил.

Он склонил голову набок.

— Нет, но судя по тому, как ты вечно заговариваешь о “Холидей Инн”, будто о каком-то завидном варианте, мне кажется, ты говоришь о том, чего тебе хочется.

— Ну, это в сто раз лучше, чем интернат.

— Верно, — он склонился ко мне, — но, пожалуйста, послушай, что я тебе скажу. Тебе всего тринадцать. Ты только что потерял родителя. Жить одному именно сейчас — для тебя не выход. Конечно, жаль, что у твоих бабушки с дедушкой сейчас приключились эти проблемы со здоровьем, но я уверен, как только твоя бабушка поправится, мы придумаем что-то гораздо лучше.

Я промолчал. Понятно, он же ни разу не встречался с дедулей Декером и Дороти. Я и сам-то не был у них частым гостем, но все, что помню, так это полнейшее отсутствие в нас голоса крови и то, как тупо они глядели на меня, будто на какого-то постороннего пацана, который забрел к ним из торгового центра. Жизнь с ними невозможно было и представить — в буквальном смысле, и я изо всех сил пытался вспомнить свой последний к ним приезд, без особого успеха, так как мне тогда было лет семь или восемь. На стенах в рамках висели вышитые изречения, на пластиковой столешнице в кухне стояла какая-то штучковина, в которой Дороти сушила продукты. В какой-то момент, после того как дедуля Декер проорал, чтоб я не лез своими липкими лапами к его поездкам, отец вышел на улицу покурить (дело было зимой) и не вернулся.

— Господи Иисусе, — сказала мама, когда мы уселись обратно в машину (это она хотела, чтобы я познакомился с семьей отца), и больше мы к ним не ездили.

Спустя пару дней после плана с “Холидей Инн”, Барбурам пришла открытка на мое имя. (В скобках — а что, правда глупо было думать, что Боб и Дороти, как они подписались, могли бы поднять трубку и позвонить мне? Или сесть в машину и приехать меня проведать? Но они ничего такого не сделали — не то чтобы я ждал, что они кинутся ко мне с сочувственными воплями, но все-таки классно было бы, если бы они неожиданно выказали хоть какой-нибудь маленький, пусть и нехарактерный для них, знак заботы.)

Открытка вообще-то была от Дороти (“Боб”, ее же почерком, был явно втиснут в последний момент). Примечательно, что конверт выглядел так, будто его кто-то отпарил и вскрыл — миссис Барбур? Кто-то из соцслужб? Хотя сама открытка была точно от Дороти, написана ее угловатым зубчатым почерком, который мы видели раз в год на рождественской открытке, почерком, который — как однажды выразился отец — хорошо смотрелся бы на меню-штендере “Ла Гулю” со списком рыбных блюд дня. На открытке был изображен поникший тюльпан, а под ним шла надпись: “У жизни нет конца”.

Дороти, как я смутно помнил, слов попусту не тратила, и открытка была тому подтверждением. После довольно теплого вступления — сожалеем о трагической потере, мысленно с тобой в этот трудный час — она предложила выслать мне деньги на автобусный билет до Вудбрайара, штат Мэриленд, тут же намекнув, что по некоторым медицинским показаниям они с дедушкой Декером не смогут в полной мере “удовлетворить всем запросам” по моему содержанию.

— Запросам? — переспросил Энди. — Такое ощущение, будто ты у нее просишь десять миллионов немечеными купюрами.

Я молчал. Странно, но меня отчего-то растревожила картинка на открытке. Такие видишь обычно на вертушках в аптеках, в них нет ничего плохого, но все-таки снимок с увядшим цветком — и неважно, что это постановочное фото — как-то не слишком уместно посылать человеку, у которого только что умерла мать.

— А я думал, что она больна. Почему тогда она пишет?

— Спроси что полегче.

Я и сам удивлялся — странно, что родной дед не написал мне ни строчки и даже не потрудился подписать открытку.

— Может быть, — угрюмо предположил Энди, — у твоего деда Альцгеймер, и она его держит дома в заложниках. Чтобы заполучить его деньги. Знаешь, жены такое часто проделывают со стариками-мужьями.

— Не думаю, что у него столько денег.

— Ну да, наверное, — Энди нарочито громко прокашлялся, — но жажду власти тоже не стоит сбрасывать со счетов. “Природы когти и клыки”. Может, не хочет с тобой делиться наследством.

— Дружок, — отец Энди внезапно высунулся из-за “Файненшл Таймс”. — Что-то мне кажется, ваш разговор перестал быть продуктивным.

— Слушай, если честно, я не понимаю, почему бы Тео и не остаться у нас, — сказал Энди, озвучив мои собственные мысли. — Мне с ним весело, да и в комнате у меня полно места.

— Ну, разумеется, нам всем очень хочется, чтобы Тео остался у нас, — сказал мистер Барбур совсем не так тепло и убедительно, как мне того хотелось. — Но что скажут его родные? Насколько я помню, похищать людей — незаконно.

— Ну, пап, здесь-то не тот случай, — сказал Энди своим невыносимым, нездешним голосом.

Мистер Барбур, не выпуская из рук стакана с содовой, резко встал с кресла. Из-за лекарств, которые он принимал, пить ему было нельзя.

— Тео, все забываю. Ты умеешь ходить под парусом?

Я не сразу понял, о чем это он спрашивает.

— Нет.

— Плохо, очень плохо. Энди прошлым летом провел просто незабываемое время в яхтенном лагере в Мэне, правда?

Энди промолчал. Я от него много раз слышал про эти две самые ужасные недели в его жизни.

— А читать сигнальные флаги умеешь? — спросил мистер Барбур.

— Флаги? — переспросил я.

— У меня в кабинете висит превосходная таблица флагов, я ее тебе обязательно покажу. И не надо кривиться, Энди. Очень полезный навык для мальчишек.

— Еще бы, вдруг ему нужно будет посигналить буксиру.

— Эти твои подколки начинают меня утомлять, — сказал мистер Барбур, хотя по его виду не скажешь, что он разозлился — скорее растерялся.

— Кроме того, — добавил он, повернувшись ко мне, — ты удивишься, узнав, как часто сигнальные флаги появляются на парадах, и в кино, и — ну, не знаю — на подмостках,

например.

Энди скорчил рожу.

— На подмостках, — саркастически повторил он.

Мистер Барбур обернулся к нему:

— Да, именно на подмостках. Это выражение кажется тебе смешным?

— Скорее высокопарным.

— Ну, боюсь, что я в нем ничего высокопарного не нахожу. Думаю, что твоя прабабушка выразилась бы именно так. (Деда мистера Барбура вычеркнули из “Светского календаря” после того, как он женился на малоизвестной актрисе Ольге Осгуд.)

— Вот и я о чем.

— Ну а как ты хочешь, чтоб я говорил?

— Вообще-то, пап, мне больше охота узнать, когда ты в последний раз видел сигнальные флаги хоть в какой-нибудь театральной постановке.

— В “Юге Тихого океана”, — молниеносно отозвался мистер Барбур.

— Кроме “Юга Тихого океана”.

— Я умываю руки.

— Ни за что не поверю, что вы с мамой хоть раз ходили на “Юг Тихого океана”.

— Господи, Энди, да уймись ты.

— А если и ходили, то одного примера недостаточно для подтверждения.

— Я отказываюсь продолжать этот абсурдный разговор. Пойдем, Тео.

7.

После этого я постарался стать идеальным гостем: заправлял по утрам кровать, всегда говорил “спасибо” и “пожалуйста”, делал все, что, по моему мнению, одобрила бы мама. К сожалению, Барбуры были не той семьей, которую можно отблагодарить за гостеприимство, посидев с малышкой или помыв посуду. Помимо женщины, которая ухаживала за цветами — тоскливая работенка, ведь из-за того, что в квартире было мало света, растения редко выживали — и помощницы миссис Барбур, вся работа которой, похоже, заключалась в том, чтобы наводить порядок в шкафах и переставлять с места на место коллекцию фарфора, на Барбуров работало еще человек восемь. (Когда я как-то раз спросил миссис Барбур, где у них стиральная машинка, она посмотрела на меня так, будто я попросил у нее щелоку и жира, чтоб сварить мыла.)

Но хоть от меня ничего и не требовалось, все попытки вписаться в их сложное глянцево-семейство давались мне нелегко. Я изо всех сил пытался слиться с обстановкой — скользить себе потихоньку мимо китайских орнаментов, будто рыба — мимо кораллового рифа, и как назло то и дело привлекал к себе нежелательное внимание по сто раз на дню: тем, что спрашивал про каждую мелочь — от тряпки до пластыря и точилки, тем, что трезвонил в домофон, потому что ключа у меня не было, и даже тем, что из лучших побуждений заправлял по утрам кровать (пусть это все-таки делают Иренка или Эсперанца, как было заведено, объяснила мне миссис Барбур, да и покрывало они получше натягивают). Как-то раз, сильно распахнув дверь, я отбил завитушку от антикварной вешалки, дважды из-за меня срабатывала сигнализация, а один раз я так вообще искал туалет, а по ошибке забрел в спальню к мистеру и миссис Барбур.

К счастью, родители Энди так мало бывали дома, что мое присутствие, кажется, не доставляло им особых неудобств. Когда миссис Барбур не принимала гостей, то уже часов в одиннадцать утра уходила из дому, забегала вечером буквально на пару часов — выпить порцию джина с лаймом и, как она говорила, “ополоснуться”, а затем уходила снова и возвращалась, когда мы уже спали. Мистера Барбура я видел и того реже — по выходным и когда он усаживался после работы со своим обернутым в салфетку стаканчиком содовой, дожидаясь, пока миссис Барбур переоденется для их вечернего выхода в свет.

Пока что самой моей большой проблемой были брат и сестра Энди. Платт, слава богу, издевался над малышкой в Гротоне, зато Китси и самый младший Барбур, семилетний Тодди, откровенно ненавидели меня за то, что я отбирал у них и без того эпизодическое внимание родителей. Китси топала ногами и дула губы, закатывала глаза и злобно надо мной посмеивалась, а еще, что было (мне) особенно неприятно и как-то так и повисло в воздухе, — жаловалась прислуге, своим друзьям и всем встречным-поперечным, что я якобы заходил к ней в комнату и трогал ее коллекцию копилок, которые стояли у нее на полочке над столом.

Что до Тодди, так чем дольше я у них жил, тем сильнее он расстраивался — за завтраком он безо всякого стеснения пялился на меня и частенько задавал вопросы, из-за которых матери приходилось щипать его под столом. А где я живу? А сколько еще я пробуду у них? А папа у меня есть? А где он?

— Хороший вопрос, — ответил я, вызвав покоробленный хохоток у Китси, школьной звезды, которая уже в девять лет была настолько же светлорусо хороша, насколько неказист был Энди.

8.

Должны были приехать перевозчики — упаковать мамины вещи и увезти их на хранение. Перед их приездом мне нужно было зайти домой и забрать все, что я хотел. Мысли о картине меня тревожили, но слабо, так, будто это был не шедевр мировой живописи, а какой-то школьный проект, который я не доделал. Я все собирался отнести ее обратно в музей, хотя пока так и не решил, как обставить все без большой шумихи.

Один шанс вернуть полотно я уже упустил — когда миссис Барбур выпроводила вон каких-то сыщиков, которые искали меня. То есть я так понял со слов валлийки Келлин, которая приглядывала за младшими Барбурами, что это были сыщики, даже настоящие полицейские.

Она как раз привела Тодди с продленки, когда в дверь позвонили какие-то незнакомцы и спросили, дома ли я.

— Знаешь, такие, при галстуках? — уточнила она, многозначительно приподняв бровь. Келлин была грузной тараторкой с вечно горящими щеками, будто только что отошла от печи. — Такой у них был видок.

Я побоялся уточнять, какой такой “видок” она имела в виду, а когда осторожненько хотел разузнать про все это у миссис Барбур, она как раз была занята.

— Прости, — сказала она, почти не взглянув в мою сторону, — но давай потом поговорим, хорошо?

Через полчаса должны были начать собираться гости, ждали известного архитектора и

знаменитую танцовщицу из Нью-Йоркского балета, она переживала из-за разладившейся застежки на ожерелье и волновалась, что кондиционер плохо работает.

— Меня в чем-то обвиняют?

У меня это вырвалось прежде, чем я сам понял, что сказал.

Миссис Барбур оторвалась от своих дел:

— Тео, не глупи, — сказала она. — Они были очень вежливы, очень любезны, просто именно сейчас я никак не могла тратить на них время. Прийти вот так, без звонка. В общем, я им сказала, что сейчас не лучшее время для визита, да они и сами это поняли.

Она указала на мечущихся туда-сюда официантов и техника, который стоял на стремянке и светил фонариком в вентиляционную шахту.

— А теперь давай-ка беги. Где Энди?

— Придет через час. Учитель астрономии повел их на экскурсию в планетарий.

— Ну ладно, еда на кухне. Тарталеток я вам много не дам, а вот мини-сэндвичей ешьте, сколько влезет. И торт когда разрежем, вам тоже по куску достанется.

Говорила она так беззаботно, что я и думать забыл про тех незнакомцев, пока три дня спустя они не заявили в школу — один помоложе, другой постарше, оба в штатском, вежливо постучали в дверь во время урока геометрии.

— Нам Теодора Декера, — сказал мистеру Боровски тот, что помоложе, похожий на итальянца. Второй с приветливым видом разглядывал класс.

— Мы просто с тобой побеседуем, хорошо? — сказал тот, что постарше, пока мы шли к злополучному конференц-залу, где в день маминой гибели у нас была назначена встреча с мистером Биманом.

— Не бойся.

Он был афроамериканцем, очень темнокожим, с седой эспаньолкой и казался жестким, но в то же время неплохим мужиком, вроде крутого сериального копа.

— Мы сейчас просто стараемся побольше всего узнать про тот день и надеемся, что ты сможешь нам помочь.

Сначала я испугался, но когда он сказал, чтоб я не боялся, я ему поверил — до тех пор пока он не открыл дверь конференц-зала. Там уже сидели: как обычно разряженный, в жилете с цепочкой для часов мистер Биман, моя Немезида в твидовом кепи, мой соработник Энрике, школьная психологиня миссис Свонсон (та, которая советовала мне кидаться кубиками льда в деревья, чтоб полегчало), психолог Дейв в традиционных черных левайсах и водолазке и — вот уж кого я не ждал — миссис Барбур в туфлях на каблуках и жемчужно-сером костюме, который стоил больше месячной зарплаты всех присутствующих.

Думаю, у меня по лицу было видно, до чего я перепугался. Может быть, я б не так трясся, если б понимал тогда то, что мне ясно сейчас: я был несовершеннолетним, и на допросе обязан был присутствовать мой родитель или опекун, потому-то сюда и созвали всех, кто хоть как-то годился на эту роль. Но я, когда увидел все эти лица и стоявший на столе магнитофон, то решил, что все официальные стороны собрались, чтобы решить мою судьбу и отправить меня уж куда они сочтут нужным.

Зажавшись, я уселся на стул и терпел их вопросы для разогрева (Есть ли у меня хобби? А какой любимый вид спорта?) до тех пор, пока не стало ясно — вводной светской беседой меня не расслабишь.

Прозвенел звонок на перемену. Захлопали дверцы шкафчиков, коридор наполнился голосами.

— Ты покойник, Тальхейм, — радостно проорал какой-то мальчишка.

Итальянец, который сказал, что его зовут Рэй, придвинул свой стул ко мне, колено в колено. Он был молодой, но грузный, похож на добродушного водителя лимузина, уголки его глаз были опущены книзу и глядел он влажно, тягуче, сонно — будто алкоголик.

— Мы всего-то хотим узнать, что ты помнишь, — сказал он. — Покопаться в твоей памяти, вытянуть оттуда что-то типа картинки того утра. Потому что вдруг, если ты вспомнишь какие-то мелочи, то и вещи поважнее припомнить сумеешь?

Он сидел так близко ко мне, что я чувствовал запах его дезодоранта.

— Например?

— Например, что ты тогда ел на завтрак? Сойдет для начала, да?

— Уmmm, — я уставился на золотой опознавательный браслет у него на запястье.

Не ожидал, что они это спросят. Вот в чем дело: мы в то утро вообще не завтракали, потому что у меня в школе были неприятности и мама на меня разозлилась, но мне было слишком стыдно в этом признаться.

— Не помнишь?

— Блинчики, — выпалил я с отчаяния.

— Правда? — Рэй пристально глянул на меня. — Мама испекла?

— Да.

— А с чем? С голубикой там, с шоколадной крошкой?

Я кивнул.

— И с тем, и с другим?

Я чувствовал, что на меня все смотрят. Наконец мистер Биман надменно, будто мы сидели на его уроке по общественной этике, сказал:

— Не обязательно придумывать ответ, если не помнишь.

Темнокожий мужик, который сидел с блокнотом в углу, бросил на мистера Бимана резкий взгляд-предупреждение.

— Вообще у него наблюдаются провалы в памяти, — негромко сказала миссис Свонсон, вертя в руках очки, свисавшие у нее с шеи на цепочке. Уже бабушка, она все равно ходила в просторных белых рубашках, а седые волосы заплетала в длинную косу. Ученики, которые ходили к ней на консультации, звали ее “Свами”. Во время психологических сеансов со мной, кроме советов бросаться кубиками льда, она еще научила меня трехступенчатой дыхательной технике, которая должна была помочь мне высвободить эмоции, и заставила нарисовать мандалу, олицетворявшую мое раненое сердце.

— Он ведь головой ударился. Верно, Тео?

— Правда? — спросил Рэй, глядя прямо на меня.

— Да.

— А врач тебя посмотрел?

— Не сразу, — сказала миссис Свонсон.

Миссис Барбур скрестила ноги.

— Я его отвела в травмпункт при Нью-Йоркской Пресвитерианской, — холодно сказала она. — Когда мальчика привезли ко мне, он пожаловался на головную боль. Мы отвезли его к врачу, когда уже день прошел или около того. Похоже, никому в голову не пришло спросить, как он себя чувствует.

Услышав это, соцработник Энрике принялся было возражать, но темнокожий коп постарше (вот, только сейчас вспомнил, как его звали — Моррис) глянул на него так, что он

умолк.

— Слушай, Тео, — сказал Рэй, похлопав меня по колену. — Я знаю, что ты хочешь нам помочь. Ты же хочешь нам помочь?

Я кивнул.

— Здорово! Но если мы тебя о чем-то спросим, а ты ответа не знаешь, то нормально говорить: я не знаю.

— Мы просто хотим забросать тебя самыми разными вопросами и понять, помнишь ли ты что-то или нет, — сказал Моррис. — Согласен?

— Хочешь чего-нибудь? — спросил Рэй, пристально на меня глядя. — Попить водички, может? Газировку?

Я помотал головой — на территории школы газированные напитки были запрещены, и мистер Биман тут же сказал:

— На территории школы газированные напитки запрещены.

Рэй скорчил рожу — *ой, ну хватит*, не уверен, правда, что мистер Биман увидел.

— Прости, пацан, я старался, — сказал он, повернувшись обратно ко мне. — Если хочешь, я попозже сбегаю тебе за газировкой. Итак, — он хлопнул в ладоши. — Как по-твоему, сколько вы с мамой пробыли в здании до того, как раздался первый взрыв?

— Ну, кажется, около часа.

— Кажется или ты точно помнишь?

— Кажется.

— А все-таки — больше часа, меньше часа, как думаешь?

— Не думаю, что больше часа, — ответил я после долгой паузы.

— Опиши, что помнишь о взрыве.

— Я не видел, как это случилось, — сказал я. — Все было нормально, а потом громкая вспышка и хлопок...

— Громкая вспышка?

— Я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что хлопок был громкий.

— Говоришь, хлопок, — вмешался Моррис. — А ты сможешь поподробнее описать, что это был за звук?

— Не знаю. Просто... громкий, — дополнил я, а они все смотрели на меня так, будто я им еще сейчас что-то скажу.

В наступившей тишине слышались ритмичные щелчки: миссис Барбур, нагнув голову, потихоньку проверяла почту на своем “блэкберри”.

Моррис прокашлялся.

— А запах?

— То есть?

— Ты никакого странного запаха не почувствовал перед взрывом?

— Нет, вроде нет.

— Совсем никакого? Уверен?

Пока шел допрос — одно и то же, по кругу, иногда они слегка меняли вопросы, чтобы сбить меня с толку, иногда — подбрасывали новые, я все крепился и стойчески ждал, когда же они доберутся до картины. Придется просто признать все как есть и смириться с наказанием, уж неважно каким (но наверняка внушительным, раз уж я вот-вот перейду под опеку государства).

Пару раз я так напугался, что чуть все не выболтал. Но чем больше вопросов они

задавали (где я был, когда получил удар по голове? Видел ли я кого-то, говорил ли с кем-то, пока спускался вниз?), тем яснее становилось — они вообще не знают, что со мной было: ни в каком я был зале, когда взорвалась бомба, ни как я выбрался из здания.

У них был план здания, но комнаты на нем были пронумерованы, а не подписаны — Галерея 19А и Галерея 19В — лабиринты из букв и цифр до числа 27.

— Ты здесь был, когда раздался первый взрыв? — спросил Рэй, тыча в план. — Или здесь?

— Не знаю.

— Подумай, не спеши.

— Я не знаю, — повторил я немного истерично.

Схема выглядела как-то путано, компьютерно — будто рисунок из видеоигры или реконструкция гитлеровского бункера, которую я как-то видел на канале “История”, я в ней, если честно, ничего не понимал, да и помнил музей совсем по-другому.

Он ткнул в другое место.

— Вот этот квадрат, — сказал он, — Вот здесь были картины. Понимаю, все комнаты похожи друг на друга, но, может, ты помнишь, как далеко ты был от этого места?

Я с отчаянием глядел на схему и ничего не отвечал. (Отчасти план казался мне таким незнакомым потому, что на нем была изображена та часть здания, где нашли тело мамы — очень далеко от того места, где я был, когда взорвалась бомба, — хоть это я понял гораздо позже.)

— И ты никого не видел, когда выходил? — ободряюще повторил Моррис то, что я им уже и так сказал.

Я покачал головой.

— И ничего не помнишь?

— Ну, помню — накрытые трупы. Оборудование везде валялось.

— И с места взрыва никто не уходил? Не входил?

— Я никого не видел, — упрямо повторил я. Это мы уже проходили.

— И ты не видел ни спасателей, ни пожарных?

— Нет.

— Тогда, похоже, мы установили, что как раз, когда ты очнулся, им велели покинуть здание. Выходит, с момента взрыва прошло где-то от сорока минут до полутора часов. Как думаешь, похоже на правду?

Я вяло пожал плечами.

— Это да или нет?

Глядя в пол:

— Не знаю.

— Что — не знаешь?

— Не знаю, — снова сказал я, и наступила такая затяжная и неудобная тишина, что я даже боялся — вот-вот разревусь.

— А второй взрыв ты слышал?

— Простите, что перебиваю, — сказал мистер Биман, — но это действительно так необходимо?

Задававший мне вопросы Рэй обернулся к нему:

— Что, простите?

— Мне не слишком ясно, зачем заставлять его снова все это переживать.

Моррис сказал — старательно нейтральным тоном:

— Мы расследуем преступление. Наша работа — выяснить, что там произошло.

— Да, но есть же у вас какие-то другие способы для таких проверок. Я-то думал, что там все везде утыкано камерами.

— Само собой, — ответил Рэй довольно нелюбезно. — Только вот через пыль и дым камеры смотреть не умеют. Или если их взрывом к потолку развернуло. Так, ладно, — сказал он, со вздохом откидываясь обратно. — Ты говорил про дым. Пахло дымом или ты его видел?

Я кивнул.

— Пахло или видел?

— И то, и другое.

— А как думаешь, с какой стороны шел дым?

Я хотел было снова сказать, что не знаю, но мистер Биман еще не все сказал, что хотел:

— Прошу прощения, но в таком случае я никак не пойму, в чем смысл камер наблюдения, если они не срабатывают в экстренных ситуациях, — произнес он, обращаясь в целом ко всем присутствовавшим. — В наш-то век технологий, в месте, где столько шедевров...

Рэй резко вскинул голову, будто хотел огрызнуться, но стоявший в углу Моррис поднял руку и ответил:

— Мальчик — важный свидетель. Система наблюдения не рассчитана на подобные происшествия. А теперь простите, сэр, но если вы и дальше будете своими комментариями прерывать беседу, нам придется попросить вас выйти.

— Я здесь, чтобы защищать права этого ребенка. Задавать вопросы — мое право.

— Только если вам кажется, что ему причиняют вред.

— Надо же, это мне и показалось.

Услышав это, Рэй крутнулся на стуле.

— Сэр! Если вы и дальше будете препятствовать нашей работе, — сказал он, — вам придется покинуть комнату.

— У меня нет намерений вам препятствовать, — сказал мистер Биман после напряженной паузы. — Уверяю вас, у меня и в мыслях такого не было. Давайте, продолжайте, пожалуйста, — он раздраженно махнул рукой. — Разве смогу я вас остановить?

И снова потянулись вопросы. Откуда шел дым? Какого цвета была вспышка? Кто входил и выходил из галереи непосредственно перед взрывом? Не заметил ли я чего необычного до или после взрыва, ну хоть что-то? Они показывали мне фотографии — невинные отпускные лица, я никого не узнал. Паспортные снимки азиатских туристов и пожилых людей, матери и прыщавые подростки улыбаются себе на голубом студийном фоне — обычные, незапоминающиеся лица, от которых в то же время так и тянуло горем. Потом мы опять вернулись к плану. Может, я попробую, ну еще разочек, показать на схеме, где я был? Здесь или здесь? А может, здесь?

— Не помню, — повторял и повторял я, отчасти потому, что и впрямь мало что помнил, отчасти потому, что был напуган и только и ждал, когда же этот разговор закончится, и еще потому, что в комнате стояла ощутимая атмосфера беспокойства, нетерпения — похоже, остальные взрослые уже решили про себя, что ничего я не знаю и потому надо бы от меня отстать.

И вдруг, не успел я и опомниться, все — конец.

— Тео, — сказал Рэй, встав и опустив свою мясистую лапу мне на плечо. — Спасибо тебе, дружище, за то, что согласился нам помочь.

— Да ладно, — сказал я, растерявшись от того, как резко все закончилось.

— Я правда понимаю, как тебе было тяжело. Про такое никому вспоминать неохота. Но, понимаешь, — он растопырил пальцы рамочкой, — мы сейчас собираем воедино куски головоломки, пытаемся понять, что же там произошло, и может статься, как раз у тебя есть такие части этой головоломки, которых ни у кого больше нет. Ты правда нам очень помог, разрешив с тобой пообщаться.

— Если ты вдруг вспомнишь что-то еще, — сказал Моррис, протягивая мне свою карточку (которую на лету перехватила миссис Барбур и сунула к себе в сумочку), — позвони нам, ладно? Вы ведь ему скажете позвонить нам, мисс, — обратился он к миссис Барбур, — если он вдруг что-то еще нам захочет сказать? Там рабочий номер, но, — он вытащил ручку из кармана, — можно мне карту на секундочку?

Миссис Барбур молча открыла сумочку, вытащила карточку и отдала ему.

— Так, так, — он щелкнул ручкой и нацарапал на обратной стороне номер телефона. — Это мой мобильный. Для меня можно оставить сообщение в конторе, но если не дозвонишься вдруг, звони на мобильный, договорились?

Пока все толклись у выхода, ко мне подплыла миссис Свонсон и так по-свойски приобняла за плечи.

— Привет, — доверительно сказала она, будто я был ее лучшим в мире другом, — ну как жизнь?

Я отвел глаза, скорчил гримаску — *ничего, вроде*.

Она погладила меня по руке, как любимого котика.

— Ну и славно. Знаю, тебе нелегко пришлось. Не хочешь зайти ко мне в кабинет на пару минут?

Я беспокойно оглянулся на психолога Дейва, который мельтешил на заднем плане, за ним торчал Энрике, уперев руки в боки, с выжидающей полуулыбкой на лице.

— Пожалуйста, — сказал я, похоже, с заметным отчаянием в голосе, — мне нужно вернуться на урок.

Она сжала мою руку и — это я заметил — бросила взгляд на Дейва с Энрике.

— Конечно, — сказала она. — Какой у тебя сейчас предмет? Я тебя отведу.

9.

Уже шел английский — последний урок. Мы проходили поэзию Уолта Уитмена.

Ты не спеши, и вновь вознесется Юпитер, ночью другой погляди, выйдут на небо Плеяды,

Звезды все эти — серебряные, золотые — вновь засияют на небе, бессмертны они^[20].

Пустые лица. В классе — душно и сонно, день клонится к вечеру, окна нараспашку, с Вест-Энд-авеню плывет шум дорожного движения. Ученики опираются на локти, рисуют картинки на полях тетрадок на пружинках.

Я глядел в окно на закопченный водяной резервуар на противоположной крыше. Допрос (как я его мысленно называл) серьезно меня растревожил, всколыхнув во мне целую волну разрозненных ощущений, которые теперь то и дело обрушивались на меня: удушливая гарь от проводов и химикатов, белесо-ледяные мигалки скорых — и чуть ли не сбивали с ног.

Всякий раз это начиналось внезапно — в школе или на улице, едва нахлынет — и я застывал на ходу, вновь встречаясь глазами с той девочкой ровно за один странный, искривленный миг до того, как рухнет весь мир. Случалось, я приходил в себя, не понимая, что мне говорят, и натыкался на недоуменный взгляд партнера по лабораторкам на биологии, или мужик, которому я заслонил дверцу холодильника с газировкой в корейском магазинчике, говорил мне: *слышь, пацан, сдвинься, мне некогда тут торчать.*

Плачешь ли ты, дорогое дитя, об одном лишь Юпитере?
Думаешь ли об одном погребении звезд?

Ни фотографий девочки, ни старика среди фото, которые они мне показали, я не видел. Я осторожно сунул левую руку в карман куртки и нащупал кольцо.

За пару дней до этого мы выучили слово “кровнородственный” — одной крови. Лицо старика было так изранено, изодрано, что я и описать не мог, как он выглядел, однако же отчетливо помнил, какими теплыми и скользкими сделались мои ладони от его крови, еще и потому, что в какой-то степени кровь с них так никуда и не делась, я еще ощущал ее вкус и запах и наконец понял, что зовут кровным братством, как связывает кровь.

Осенью на английском мы читали “Макбета”, но только теперь до меня начало доходить, отчего леди Макбет никак не могла отскрести кровь с рук, отчего она смывала ее — и не могла смыть.

10.

Поскольку пару раз я явно будил Энди тем, что вопил и метался во сне, миссис Барбур начала давать мне маленькую зеленую таблетку, элавил, от которой, как она выразилась, я должен был перестать пугаться по ночам. Было, конечно, стыдно, потому что мне в общем-то не снились полноценные кошмары, а так, тревожные интерлюдии, в которых мама задерживалась допоздна на работе и потом не могла никуда уехать, застряв, например, где-то на севере, в каких-то выжженных дотла трупобабах, где на улицах ржавели машины, а во дворах надрывались собаки на цепях. Я с тревогой искал ее в служебных лифтах и заброшенных зданиях, ждал ее в темноте на странных автобусных остановках, замечал похожих на нее женщин в окнах проносящихся мимо поездов и всего-то чуть-чуть не успел схватить телефонную трубку, когда она звонила мне на номер Барбуров — меня оглушало промахами и разочарованиями, и я, с всхлипом втягивая воздух, просыпался и лежал в утреннем свете взмокший, с тошнотой у горла. Но хуже всего было не искать ее во сне, а проснуться и вспомнить, что она умерла.

С зелеными таблетками даже эти сны угасли до безвоздушного мрака. (Я только сейчас стал задумываться о том, что миссис Барбур практически нарушала закон, угощая меня таблетками, которых мне никто не выписывал, в придачу к желтым капсулкам и крошечным оранжевым шарикам от Психо-Дейва.) Сон наступал, как уханье в яму, и мне частенько было

трудно просыпаться по утрам.

— Черный чай, вот решение, — как-то утром сказал мне мистер Барбур, когда я клевал носом за завтраком, наливая мне чашку своего как следует заварившегося чая. — Чистый ассам. И такой вот крепкий, чтоб крепче некуда. Сразу все лекарства выведет из организма. Как Джуди Гарленд делала. Перед спектаклем, знаешь? Ну, вот мне бабка рассказывала, что Сид Лафт всегда звонил в китайский ресторан, чтоб несли им большой чайник чаю — вымыть из нее все барбитураты, по-моему, дело было в Лондоне, в “Палладиуме”, и крепкий чай только и помогал, потому что иногда ее нельзя было и поднять — ну там, из кровати вытащить, одеть...

— Ему такое нельзя, это же серная кислота, — вмешалась миссис Барбур и перед тем, как отдать мне чашку, бросила туда два кусочка сахара и долила толстый слой сливок. — Тео, прости, что вечно пристаю к тебе с этим, но ты должен поесть.

— Хорошо, — сонно ответил я, но так и не откусил от своего черничного маффина.

Вся еда на вкус была как картон. Мне уже несколько недель вообще не хотелось есть.

— Может, хочешь тост с корицей? Или кашу?

— Просто смехотворно, что ты запрещаешь нам пить кофе, — сказал Энди, который без ведома родителей обычно покупал себе по огромному стакану кофе в “Старбаксе” — по дороге в школу и домой. — Очень отстало с твоей стороны.

— Возможно, — холодно отозвалась миссис Барбур.

— Даже полчашки — и то хорошо. Довольно неразумно с твоей стороны отправлять меня на углубленное изучение химии в восемь сорок пять утра без капли кофеина.

— Хнык-хнык, — вставил мистер Барбур, не отрывая взгляда от газеты.

— Это очень нецелесообразный подход. Всем остальным его пить разрешают.

— А вот это неправда, — сказала миссис Барбур. — Бетси Ингерсолл мне говорила...

— Ну, может миссис Ингерсолл и не разрешает Сабине пить кофе, но нужно гораздо больше, чем чашка кофе, чтоб Сабина Ингерсолл смогла хоть что-то изучать углубленно.

— Это неуместное замечание, Энди, — и недоброе.

— Я всего-то сказал правду, — холодно сказал Энди, — Сабина тупа как пробка. Ей, наверное, стоит следить за здоровьем — на другое-то надежды мало.

— Мозги — это еще не все, милый. Хочешь яйцо — может, Этта тебе яйцо-пашот сделает? — спросила миссис Барбур, повернувшись ко мне. — Или яичницу? Или омлет? Или как ты хочешь?

— Я люблю омлет! — сказал Тодди. — Смогу даже из четырех яиц съесть!

— Не сможешь, дружок, — сказал мистер Барбур.

— Смогу! Из шести! Из целой коробки яиц!

— Я же не декседрин у тебя прошу, — сказал Энди. — Вообще-то если б я хотел, его я бы и в школе мог достать.

— Тео, — сказала миссис Барбур. Я заметил, что в дверях возникла кухарка Этта. — Так что насчет яичницы?

— А нас никто никогда не спрашивает, что мы хотим на завтрак! — сказала Китси, но хоть она и произнесла это очень громко, все притворились, будто ничего не слышали.

Как-то воскресным утром я выкарабкался на свет из чугунного, запутанного сна, от которого у меня остался только звон в ушах и боль по чему-то, ускользнувшему от меня, рухнувшему в пропасть — подальше от моего взгляда. Но каким-то образом посреди всех этих провалов, оборванных нитей, утерянных и невозвратных фрагментов вдруг проступила одна фраза, побежала по темноте, как бегущая строка — по низу телеэкрана: *Хобарт и Блэквелл. Позвони в зеленый звонок.*

Я лежал, уставившись в потолок, боясь даже пошевелинуться. Слова были четкими, хрусткими, будто кто-то вручил мне их пропечатанными на листке бумаги. И тут же самым удивительным образом вместе с ними всплыло и развернулось огромное поле позабытых воспоминаний, словно бумажные шарики из Чайнатауна — бросишь их в бокал с водой, а они там разбухают, раскрываются цветами.

Накаленный важностью миг вдруг перекрыло сомнением: настоящее ли это воспоминание, он правда мне это сказал или мне все приснилось? Незадолго до маминой гибели я проснулся в полном убеждении, что (несуществующая) учительница по имени миссис Малйт посыпала мне в еду толченого стекла, потому что я плохо себя вел — в мире сна к этому привела совершенно логичная цепочка событий, — и я еще минуты две-три лежал, охваченный вязкой тревогой, пока не проснулся окончательно.

— Энди? — позвал я, потом свесился вниз и посмотрел на нижний ярус — там никого не было.

Пару минут я еще потарачился в потолок, потом спустился вниз, вытащил кольцо из кармана школьного пиджака и поднес его к свету, чтобы прочесть надпись.

Потом быстро спрятал кольцо, оделся. Энди — как и прочие Барбуры — уже давно встал и завтракал, воскресный завтрак для них — целая история, я слышал их в столовой: мистер Барбур что-то вещает неразборчиво, он иногда любил поразглагольствовать. Помешкав в холле, я быстро пошел в другую сторону, в большую гостиную, и вытащил из шкафчика под телефоном “Белые страницы” в ажурной обложке.

Хобарт и Блэквелл. Вот они — явно какая-то контора, хотя в списке не был указан род занятий. Голова у меня слегка закружилась. Увидев эти имена напечатанными черным по белому, я ощутил странный трепет, будто сошелся невидимый пасьянс.

Они находились в Виллидж, на Десятой Западной улице. Поколебавшись и страшно волнуясь, я набрал их номер.

Пока телефон звонил, я водил пальцем по латунным каретным часам, которые стояли на столе, разглядывал висевшие над телефонным столиком эстампы в рамочках с изображениями водоплавающих птиц: обыкновенная глупая крачка, таунсендов буревестник, ястреб-рыболов, черный водяной пастушок. Я не очень понимал, как я буду объяснять, кто я такой, или как узнаю, что мне нужно.

— Тео?

Я виновато вздрогнул. Миссис Барбур, в паутинно-сером кашемире вошла в комнату с чашкой кофе в руках.

— Ты что делаешь?

На другом конце провода телефон все звенел.

— Ничего, — сказал я.

— Ну тогда поторопись. Завтрак сейчас остынет. Этта приготовила французские тосты.

— Спасибо, — сказал я. — Я сейчас.

И тут прорезался механический голос телефонной компании и посоветовал мне

перезвонить позже.

В задумчивости — я надеялся, что там хоть автоответчик сработает — я вернулся к Барбурам и с удивлением увидел, что на моем обычном месте сидит не кто иной, как Платт Барбур (у которого с нашей последней встречи рожа стала еще краснее, а плечи — шире).

— А! — воскликнул мистер Барбур, оборвав сам себя на полуслове — вскочил, промакивая губы салфеткой. — Вот и мы, вот и мы. Доброе утро. Платта ты помнишь, верно? Платт, это Теодор Декер — друг Энди, помнишь?

Болтая, он отбежал за еще одним стулом для меня и неловко притиснул его к углу стола.

Когда я уселся на задворках стола — сантиметров на десять ниже всех остальных, на шатком бамбуковом стуле, который не сочетался с остальными, — Платт глянул на меня безо всякого интереса и отвернулся. Он приехал домой из школы на какую-то вечеринку и был, похоже, с похмелья.

Мистер Барбур уселся обратно и вернулся к своей любимой теме: хождение под парусом.

— Как я и говорил, все сводится к простой неуверенности в себе. Ты просто неуверенно держишься на килевой яхте, Энди, — сказал он, — а тому, черт подери, нет никаких причин, разве что тебе не хватает опыта управлять яхтой в одиночку.

— Нет, — ответил Энди своим далеким голосом, — по сути своей проблема заключается в том, что я ненавижу яхты.

— Чушь собачья, — сказал мистер Барбур, подмигивая мне так, будто я словил его шутку (ничего подобного). — Нет, меня не проведешь кислой миной! Только взгляни вон на то фото на стене! Два года назад на Санибеле море, солнце и звезды вовсе не казались одному мальчику скучными, нет, сэр!

Энди разглядывал заснеженный пейзаж на бутылке с кленовым сиропом, пока его отец — в своей мутноватой, беспорядочной манере — соловьем разливался про то, что, мол, хождение под парусом укрепляет у мальчишек силу воли, развивает реакцию и силу духа, как у мореходов в давние времена. Энди мне рассказывал, что еще пару лет назад он переносил все лучше, потому что можно было сидеть в каюте, читать и играть в карты с младшими братом и сестрой.

Но сейчас он уже подрос настолько, чтобы помогать команде, а это значило, что он должен был целыми днями — долгими, напряженными, слепящими — батрачить на палубе в компании гнобившего его Платта: и вот он, совсем потерявшись, подныривает под рангоутом, старается не запутаться ногами в витках каната и не свалиться за борт, а отец громким голосом отдает команды и наслаждается солеными брызгами.

— Черт, да ты помнишь, какой там был свет, на Санибеле? — отец Энди откинулся на спинку стула, закатил глаза к потолку. — Восхитительный, ну скажи? Закаты какие — красные, оранжевые! Как пламя, как угли, прямо космос какой-то. Чистейший огонь просто рвется, льется с неба. А помнишь, какая была жирная, смачная луна сразу за Гаттерасом — и еще с голубой дымкой вокруг, прямо Максфилд Пэрриш или нет, Саманта?

— Ты о чем?

— Ну, Максфилд Пэрриш его зовут? Художника, который мне нравится? Такие он рисует широченные небеса, — он раскидывает руки, — и облака там громоздятся! Прости, Тео, не хотел дать тебе по носу.

— Облака у Констебля.

— Нет, нет, это не тот, я про другого художника, куда сильнее. В общем, право слово, какое ж было небо над водой в тот вечер. Колдовское. Будто над Аркадией.

— Это ты про какой вечер?

— Только не говори, что не помнишь! Это ж была кульминация всей поездки!

Платт, развалившись на стуле, злобно сказал:

— Для Энди кульминацией всей поездки было, когда мы тогда в закусочной пообедали.

Энди тоненько сказал:

— Мама тоже не слишком любит ходить под парусом.

— Не вдохновляет, нет, — сказала миссис Барбур, потянувшись за клубникой. — Тео, право же, мне очень хочется, чтобы ты хоть чуточку поел. Нельзя так морить себя голодом. Ты уже осунулся.

Хоть мистер Барбур и объяснил мне тогда по-быстрому у себя в кабинете таблицу флагов, меня разговоры о хождении под парусом тоже не слишком занимали.

— А ведь какой самый большой в жизни подарок мне сделал отец? — очень серьезно спрашивал мистер Барбур. — Море. Любовь к морю — само чувство моря. Папа подарил мне океан. И какая будет трагедия, Энди... Энди, смотри на меня, я с тобой разговариваю — как ужасно много ты потеряешь, если решишь отринуть то, что дало мне мою свободу, мое...

— Я пытался все это полюбить. У меня к этому врожденная неприязнь.

— Неприязнь? — потрясение, ступор. — Неприязнь к чему? К ветру и звездам? К небу и солнцу? К воле?

— Когда все это привязано к парусному спорту, то да.

— Ну-у, — он обвел всех умоляющим взглядом — меня тоже, — вот сейчас он уже упрямится. Море, — повернулся он к Энди, — хочешь отрицай, хочешь нет — принадлежит тебе с рождения, оно у тебя в крови, это идет еще от финикийцев, от древних греков...

Но едва мистер Барбур завел про Магеллана, навигацию по небесным светилам и “Билли Бадда” (“Видал я, как Таффи Валлиец утоп, / Румяный такой, а мне сделают гроб...”^[21]), мои мысли тут же унеслись к “Хобарту и Блэквеллу”: я раздумывал, кто же такой Хобарт и кто такой Блэквелл, и чем же они все-таки занимаются. Судить по фамилиям — так двое замшелых стариков-законников, а то и фокусники — такие вот партнеры по бизнесу, шаркают себе по сцене при свете свечей.

А вот то, что телефон у них работал, обнадеживало. У нас дома, например, линию отсоединили. Как только я сумел, не нарушив приличий, улизнуть из столовой и от нетронутой тарелки с завтраком, тут же вернулся в большую гостиную, где Иренка порхала с пылесосом и протирала всякие безделушки, а Китси сидела за компьютером в другом углу и старательно меня не замечала.

— Кому звонишь? — спросил Энди, который — совершенно в духе своей семейки — подошел ко мне сзади так тихо, что я не слышал.

Можно было, конечно, и не рассказывать, но я знал, что Энди точно будет держать рот на замке. Энди никогда ни с кем не разговаривал, и уж тем более с родителями.

— Тут одни люди... — прошептал я, отойдя немного в сторону, так чтобы из коридора меня не было видно. — Короче, бред полный. Но помнишь то мое кольцо?

Я рассказал про старика и думал, как бы лучше объяснить про девчонку тоже, про связь, которую ощутил с ней, и про то, как сильно мне хотелось ее снова увидеть. Но Энди, чего и стоило ожидать, уже просчитал все наперед: перескочил через личные причины и сразу перешел к сути.

Он глянул на раскрытые “Белые страницы” на телефонном столике.

— Они тут живут?

— На Западной Десятой.

Энди чихнул, высморкался — весенняя аллергия его не щадила.

— Не можешь дозвониться, — сказал он, складывая платок и засовывая его в карман, — так чего б тебе туда не поехать?

— Думаешь? — спросил я. Как-то тупо было заявиться вот так, без звонка. — Правда?

— Ну, я бы так сделал.

— Ну, даже не знаю, — сказал я. — Может, они меня не помнят вообще.

— Увидят — так точно скорее вспомнят, — логично предположил Энди. — А так, позвонить-то и притвориться кем угодно любой псих может. Не бойся, — добавил он, оглянувшись, — если сам не попросишь, я никому не скажу.

— Псих? — переспросил я. — Кем притвориться?

— Ну, короче, сюда вот, например, куча чудиков звонит, тебя спрашивают, — ровно пояснил Энди.

Я замолчал, не очень понятно было — как это все перевернуть.

— И потом, а что тебе еще делать, если они там трубку не берут? И если сейчас не съездишь, то ждать до следующих выходных. Ну и потом, ты вряд ли захочешь спросить... — он выглянул в коридор, где Тодди всю прыгал в каких-то специальных кроссовках на пружинках, а миссис Барбур допрашивала Платта, что там за вечеринка была у Молли Уолтербек.

Он был прав.

— Точно, — сказал я.

Энди поправил очки.

— Хочешь, я с тобой съезжу?

— Не, не надо, нормально все, — ответил я.

Я знал, что у Энди на сегодня запланировано “Погружение в мир Японии”: за дополнительную оценку нужно было сначала сходить на семинар в чайный дом “Торая”, а потом — в Линкольн-центр, на нового Миядзаки. Не то чтоб Энди нужны были дополнительные оценки, но, кроме этих экскурсий, другой социальной жизни у него не было.

— Ну ладно тогда, — сказал он и вытащил из кармана свой мобильник. — Возьми вот. На всякий случай. Та-ак, — он потыкал пальцем в экран, — вот, я снял блокировку паролем. Можешь пользоваться.

— Да мне не надо, — сказал я, глядя на тоненький телефончик с заставкой из аниме “Аки-виртуалка” (с голой Аки, в порнушных сапогах-чулках).

— Вдруг пригодится. Кто его знает. Давай, — настаивал он. — Бери уже.

12.

Вот так и вышло, что где-то в полдвенадцатого я уже ехал на автобусе от Пятой авеню до Виллидж, а в кармане у меня лежал адрес “Хобарта и Блэквелла”, записанный на страничке с монограммой, выдранный из блокнота, который миссис Барбур держала возле телефона.

Я сошел на Вашингтон-сквер и еще минут сорок пять искал нужный дом. В Виллидже, с его хаотичной застройкой, заблудиться было легче легкого, и мне пришлось три раза останавливаться и спрашивать дорогу: сначала в газетном киоске с кучей кальянов и

порножурналов для геев, потом — в переполненной булочной, где грохотала оперная музыка, и еще потом — у девушки в белой майке и комбинезоне, которая стояла на улице с ведром и резиновым валиком и мыла окна книжного.

Наконец я отыскал совершенно пустынную Западную Десятую и пошел по ней, считая номера домов. Дошел до жилого квартала — довольно обшарпанного. Передо мной по мокрому тротуару вышагивала стайка голубей — трое в ряд, будто крохотные надутые пешеходики. Не все номера были четко видны, но только я начал волноваться, что прошел мимо и, наверное, надо бы вернуться, как увидел вывеску “Хобарт и Блэквелл” — аккуратные старомодные буквы выписаны дугой над оконной витриной.

Сквозь пыльное стекло виднелись стаффордширские керамические собачки и майоликовые кошечки, пыльный хрусталь, антикварные стулья и обитые пожухлой старой парчой кушетки, вычурная фаянсовая птичья клетка, миниатюрные мраморные обелиски на круглом столике с мраморной столешницей и парочка алебастровых какаду. Вот такой магазин — забитый доверху, слегка неряшливый, со стопками книг на полу — очень бы понравился маме. Но ставни на двери были опущены: закрыто.

Магазины тут по большей части открывались часов в двенадцать — или даже в час. Чтобы убить время, я прошелся до Гринич-стрит, до ресторана “Слон и замок”, где мы с мамой иногда обедали, когда бывали тут. Правда, едва я туда зашел, как понял, что делать этого не стоило. Разномастные фарфоровые слоники, ко мне с улыбкой идет официантка в черной футболке, со стянутыми в хвост волосами — нет, это было слишком: я увидел столик в углу, где сидели мы с мамой, когда были тут в последний раз, промямлил какие-то извинения и выскочил на улицу.

Я стоял на тротуаре, и сердце у меня колотилось. По закопченному небу низко летели голуби. На Гринич-авеню почти никого не было: парочка заспанных мужчин, которые, похоже, всю ночь выясняли отношения, взъерошенная женщина в парусящей водолазке прошла в направлении Шестой авеню с таксой на поводке. Чудно было, что я в Виллидже, да еще сам по себе, по выходным утром детей тут особо не видно — место казалось взрослым, рафинированным, перегарным. Все выглядели так, как будто они или с похмелья, или только что выползли из постели.

Почти все кругом было закрыто, я растерялся, не знал, что и делать, и потому побрел обратно в сторону “Хобарта и Блэквелла”. Мне, жителю Северного Манхэттена, здесь все казалось таким дряхлым, крошечным: по стенам домов всползают плющ и вьюнок, в кадках на улицах растут зелень и помидоры. Даже вывески баров намалеваны вручную, как на сельских пивнушках: лошади и коты, петухи, гуси, свиньи. Но от их малости, интимности я чувствовал себя здесь изгоем и с опущенной головой шагал мимо манящих крохотных дверок, остро ощущая, как за ними, втайне от меня, набирает обороты развеселая воскресная жизнь.

Ставни у “Хобарта и Блэквелла” были по-прежнему опущены. Ощущение было такое, что магазин закрыт уже не первый день — слишком там было промозгло, слишком темно, и по сравнению с другими заведениями на улице обстановка в магазине казалась неживой.

Я глядел в окно и думал, что же делать дальше, как вдруг внезапно заметил движение — объемная тень скользнула в дальнем углу магазина. Я вздрогнул, закаменел. Тень двигалась легонько, так, верно, ходят призраки, не глядя по сторонам, быстро метнувшись в темноту возле двери.

Тень исчезла. Я прижал ко лбу ладонь козырьком и принялся вглядываться в мутные, набитые битком глубины магазина, потом постучал по стеклу.

Хобарт и Блэквелл. Позвони в зеленый звонок.

Звонок? Не было тут никакого звонка, только железная калитка перед входом. Я прошелся до следующей двери — до скромного жилого дома за номером 12, затем в другую сторону — дом из бурого песчаника, номер 8.

Здесь ко входу спускались вниз ступеньки, и тут я кое-что наконец заметил: между 8-м и 10-м домом втиснута узенькая дверца, которой и не углядишь сразу за рядами старомодных мусорных баков. Четыре или пять ступенек вниз — и оказываешься перед безликой дверью, где-то на метр ниже тротуара. Никакой вывески, никаких табличек, но в глаза мне сразу бросилось пятно теплого зеленого цвета: под кнопкой в стене прилеплен хвостик зеленой изолянтки.

Я спустился вниз, позвонил в звонок, позвонил снова, морщась от его истерических взвизгов (так и подмывало сбежать) и хватая ртом воздух для храбрости. И вдруг — так внезапно, что я отшатнулся — дверь открылась, и передо мной возник огромный человек самой неожиданной наружности.

Росту в нем было как минимум метр девяносто, а то и все два: осанистый, с осунувшимся лицом и рельефной челюстью — было в нем что-то от старых снимков ирландских поэтов и боксеров-тяжеловесов, которые висели в любимом пабе моего отца.

Он был почти весь седой, да и подстричься бы ему не помешало, кожа — нездорово-белая, а под глазами — такие яркие багровые синяки, что казалось, будто у него нос сломан. Поверх одежды он был внушительно задрапирован в роскошный халат с узором из “индийских огурцов” и атласными отворотами, который доходил ему почти до самых пяток: поношенная, но впечатляющая вещь, точь-в-точь будто из гардероба какой-нибудь кинозвезды тридцатых годов.

Я так удивился, что и слова не мог вымолвить. В его манерах не чувствовалось никакого нетерпения, совсем напротив. Он бесстрастно глядел на меня из-под своих багровых век и ждал, пока я заговорю.

— Простите, — я сглотнул, в горле пересохло. — Не хотел вас беспокоить...

Наступила тишина, он моргнул, кротко так, словно, конечно же, прекрасно все понимал и ничего такого даже и не подумал.

Я порылся в кармане, протянул ему кольцо на раскрытой ладони. Его крупное, бледное лицо опало. Он глянул на кольцо, потом на меня.

— Откуда оно у тебя? — спросил он.

— Он мне его дал, — ответил я. — Сказал принести сюда.

Он в упор глядел на меня. На секунду мне показалось даже, будто он вот-вот скажет, что и понятия не имеет, про что это я вообще. Но он, не говоря ни слова, отступил назад и распахнул дверь.

— Я Хоби, — сказал он, когда я замешкался на пороге. — Заходи.

Глава четвертая

Леденец с морфином

1.

Буйство позолоты косыми лучами отражается от опущенных пылью окон: золоченые купидоны и золоченые комоды с лампами, запах старого дерева еле пробивается из-под едкой вони скипидара, масляной краски и лака. Я прошел за ним в мастерскую по протоптанной среди опилок дорожке, мимо панели для крепления инструментов и самих инструментов, мимо расчлененных стульев и перевернутых столиков, выставивших в воздух когтистые ножки. Человек он был огромный, а двигался грациозно, “фланер”, сказала бы про него мама, — так легко и плавно нес он свое тело. Уперев взгляд в задники его домашних туфель, я спустился вслед за ним по узкой лестнице и оказался в устланной коврами полутемной комнате, где на пьедесталах стояли черные вазы-урны, а наглухо задернутые портьеры с кистями не пропускали солнечного света.

От этой тишины внутри у меня все заглодело. Мертвые цветы догнивали в массивных китайских вазах, комнату сдавливало затхлой тяжестью: воздух такой спертый, что и не продохнуть, вот так же удушливо было и у меня дома, когда мы как-то раз заходили с миссис Барбур на Саттон-плейс, чтобы я мог забрать кое-какие вещи. Мне было знакомо это ощущение: так уходит в себя дом, когда кто-то умирает.

Тотчас же я пожалел, что пришел. Но этот Хоби, казалось, сразу почувствовал мои сомнения, потому что вдруг обернулся ко мне. Он был уже немолод, но в лице его еще было что-то мальчишеское, по-детски голубые глаза были ясными, любопытными.

— Что такое? — спросил он, а потом прибавил: — Все хорошо?

От его участливости я совсем смутился. Я мялся посреди затхлой, забитой старинной мебелью комнаты и не знал, что сказать.

Похоже, и он тоже не знал, что сказать, он открыл было рот, закрыл рот, потом помотал головой, будто желая, чтобы в ней прояснилось. На вид ему было лет пятьдесят, может, шестьдесят, лицо у него было неряшливо выбритое, застенчивое, приятное такое лицо с крупными чертами, не то чтобы красивое, но и невзрачным не назовешь — такой человек в любой компании будет нависать надо всеми, хоть и была в нем какая-то вязкая, еле уловимая нездоровость: его темные круги вокруг глаз и бледность напомнили мне о Канадских мучениках, чьи изображения я видел на церковных фресках во время поездки с классом в Монреаль — крупные, смышленные, мертвенно-бледные европейцы, которых гуруны связали и посадили на кол.

— Ты уж извини, я тут вообще-то... — он заозирался по сторонам с рассеянной, расфокусированной напряженностью, как мама, бывало, когда не могла чего-нибудь отыскать. Голос у него был грубый, но выговор — правильный, как у моего учителя истории мистера О’Ши, который вырос в бандитском районе Бостона, а потом доучился до Гарварда.

— Может, я в другой раз зайду? Если сейчас неудобно.

Тут он глянул на меня с легкой тревогой.

— Нет, нет, — сказал он, запонок на нем не было, замусоленные рукава болтались вокруг запястий, — погоди минутку, я соберусь, ох, прости — сюда, — рассеянно добавил он,

отбросив с лица седую прядь, — давай-ка сюда.

Он подвел меня к узкой, жесткой на вид софе со скругленными подлокотниками и резной спинкой. Но она была завалена подушками и пледами, и только тут мы оба, похоже, заметили, что из-за смятой постели сюда не усядешься.

— Ой, прости... — пробормотал он, отступив назад, так что я чуть в него не врезался. — Я тут, как видишь, разбил лагерь, условия тут, конечно, не самые идеальные, но что поделаешь, иначе толком ничего не слышно, из-за всего...

Конец фразы я не расслышал — он отвернулся, обогнул лежавшую на ковре переплетом кверху книгу и чашку с коричневым кружком от чая внутри и усадил меня в богатое набивное кресло, пухлое, оборчатое, со свисавшей бахромой и сложного вида сиденьем в пуговку — потом я узнал, что такие кресла называются турецкими, а он — один из немногих людей в Нью-Йорке, которые умеют их набивать.

Бронза с крылышками, серебряные побрякушки. Пыльное серое страусиное перо в серебряной вазе. Я неловко примостился на краешке кресла и огляделся по сторонам. Я бы предпочел постоять, так уйти проще.

Он наклонился, зажал руки между коленей. Но вместо того, чтобы сказать что-то, просто глядел на меня и ждал.

— Меня Тео зовут, — наконец выпалил я после долгого молчания. Лицо у меня горело так, что казалось, вот-вот вспыхнет. — Теодор Декер. Все меня зовут Тео. Я живу на севере, — неуверенно прибавил я.

— Ну, а меня зовут Джеймсом Хобартом, но все меня называют Хоби. — Взгляд у него был грустный, кроткий. — Я живу на юге.

Я растерялся, отвернулся, не понимая, смеется ли он надо мной.

— Извини. — Он на секунду прикрыл глаза, открыл их снова. — Не обращай внимания. Велти, — он глянул на кольцо, которое он держал, — был моим деловым партнером.

Был? Астрономические часы — жужжащие, шестеренчатые, с цепями и гирьками, шпукovina в духе капитана Немо — громко всхрапнули в тишине, перед тем как отбить четверть часа.

— А... — сказал я. — Я просто. Я думал...

— Сожалею, но нет. А ты не знал? — спросил он, пристально взглянув на меня.

Я отвел взгляд. Я и не понимал, как мне хотелось, чтоб старик выжил. Несмотря на то что я видел — и что знал, — я как-то ухитрился выпестовать в себе ребяческую надежду на то, что он чудесным образом спасся, будто жертва убийства по телику, которая после рекламной паузы оказывается живехонька и идет себе на поправку в больницу.

— А это у тебя как оказалось?

— Что? — вздрогнул я.

Часы, я заметил, шли неправильно: десять вечера или десять утра, далеко до реального времени.

— Он тебе его дал, ты сказал?

Я неловко заерзал.

— Да, я... — чувство ужаса от его смерти было свежим, словно бы я подвел его во второй раз и теперь все происходило снова и снова, только я смотрел с другого ракурса.

— Он был в сознании? Он с тобой говорил?

— Да, — начал я и снова смолк. Чувствовал я себя очень жалким. Я сидел в стариковом мире, окруженный его вещами, и от этого он вновь резко ожил во мне: от сонной будто

ушедшей под воду комнаты, от ее шуршащего бархата, от ее роскоши и тишины.

— Хорошо, что он был не один, — сказал Хоби. — Он бы этого не хотел.

Он зажал кольцо в руке, поднес кулак ко рту и поглядел на меня.

— Господи. Да ты ведь совсем мальщ, — сказал он.

Я натянуто улыбнулся, не зная, какой реакции он ждет.

— Прости, — сказал он чуть более деловито, чтобы, как я понял, меня приободрить. — Просто... я знаю, как ужасно все было. Я видел. Его тело, — он, казалось, с трудом подбирая слова, — перед тем как туда приезжаешь, их подчищают, как могут, и говорят, что зрелище не из приятных, да это и без того ясно, но... вот. Нельзя никак к такому подготовиться. Пару лет назад к нам в магазин попала подборка фотографий Мэтью Брэди — снимки времен Гражданской войны, настолько неприглядные, что продать их было нелегко.

Я промолчал. Обычно я во взрослых беседах не участвовал, разве что, если прижмут, скажу там “да” или “нет”, но тут меня заколотило. Мамино тело опознавал ее друг Марк, который работал врачом, и со мной про это никто особо не разговаривал.

— Помню, читал я как-то рассказ про солдата — при Шайло это, что ли, было? — он обращался ко мне, но видел не только меня. — Или при Геттисберге? Про солдата, который от ужаса так обезумел, что принялся хоронить на поле боя птиц и белок. Всякую такую мелочь, маленьких животных, тоже ведь сотнями убивало под перекрестным огнем. Множество крохотных могилочек.

— При Шайло за два дня погибло двадцать четыре тысячи человек, — вырвалось у меня.

Он с тревогой вскинул на меня глаза.

— А при Геттисберге пятьдесят тысяч. Все из-за нового оружия. Из-за пуль Минье и магазинных винтовок. Поэтому такие огромные потери. Мы в Америке вели войну в окопах еще до Первой мировой. Многие об этом вообще не знают.

Было заметно, что он вообще не знает, как на это отвечать.

— Интересуешься Гражданской войной? — спросил он после тщательной паузы.

— Ну... да, — резко ответил я. — Типа того.

Я много знал о легкой артиллерии Федеральной армии, потому что на эту тему писал реферат и так набил его терминами и фактами, что учитель велел мне его переписать, и про снимки убитых солдат, которые Мэтью Брэди сделал при Антиетаме, я знал тоже: видел их в интернете, фотографии мальчишек с глазами-пуговками и запекшейся у носа и рта кровью.

— Мы в школе на теме про Линкольна полтора месяца сидели.

— У Брэди была фотостудия тут неподалеку. Не видел?

— Нет, — во мне засела какая-то мысль — вот-вот вырвется, что-то важное и невыразимое, восторженное при воспоминании о пустых лицах тех солдат. Нет, исчезла, только образ остался: мертвые мальчишки раскинули руки и ноги, уставились в небо.

Опять наступило молчание — мучительное. Никто из нас, похоже, не знал, что говорить дальше. Наконец Хоби переложил ногу на ногу.

— То есть хочу сказать... извини. Прости, что спрашиваю, — сказал он, запинаясь.

Я заелозил в кресле. Я сюда ехал с таким огромным любопытством, что как-то и не подумал о том, что еще и придется отвечать на вопросы.

— Знаю, трудно об этом говорить, наверное... Просто. Я и не думал...

Мои ботинки. Интересно, как же это я раньше никогда толком не смотрел на свои ботинки. Оббитые носы. Разлохматившиеся шнурки. “Пойдем в субботу в «Блумингдейл» и купим тебе новые”. Так и не купили.

— Не хочу тебя мучить. Но... он был в сознании?

— Да. Типа того. Ну, то есть... — Я заметил, какое встревоженное, напряженное у него стало лицо, и какая-то глубинная часть меня рванулась было к нему со всеми этими подробностями, которых он не знал и которых ему и знать не надо было, с распластанными внутренностями, с безобразными образами, которые то и дело вспыхивали у меня в голове, даже когда я не спал.

Тусклые портреты, фарфоровые спаниели на каминной полке, тик-так, тик-так, качается золотой маятник.

— Я услышал, как он зовет, — я потер глаз. — Когда очнулся.

Будто сон пытаешься рассказать. Невозможно.

— И я к нему подошел, и посидел с ним, и... все было не так уж плохо. Ну, не так, то есть, как можно подумать, — прибавил я, потому что вранье вышло уж очень заметным.

— Он с тобой говорил?

Я с трудом сглотнул и кивнул. Темная мебель красного дерева, пальмы в кадках.

— Он был в сознании?

Я снова кивнул. Во рту дурной привкус. Такое нельзя было сформулировать, у этого всего не было смысла, не было истории — у пыли, у сирен, у того, как он держал меня за руку, у целой жизни, где были только мы вдвоем — с мешаниной фраз, названиями городов и именами, которых я раньше не слышал. С искрами от разорванных проводов.

Он все не сводил с меня глаз. В горле у меня пересохло и меня подташнивало. Один миг не перетекал в другой как положено, и я все ждал, что он еще что-то спросит, про что угодно, а он не спрашивал.

Наконец он помотал головой, будто мысли прояснить.

— Это...

Казалось, он смущен не меньше моего, с этим его халатом и всклокоченными седыми волосами он был похож на короля без короны на детском карнавале.

— Извини, — сказал он, снова замотав головой, — мне это все в новинку.

— Простите?

— Видишь ли, просто все... — он склонился ко мне, заморгал — быстро, взволнованно, — это все так отличается от того, что мне сказали, понимаешь. Сказали, что он умер мгновенно. Очень, очень это подчеркивали.

— Но... — я с изумлением на него уставился. Он что, думал, я все выдумываю?

— Нет, нет, — заторопился он, выставив вперед руки, чтоб меня успокоить. — Просто... думаю, они это всем говорят. “Умер мгновенно”, — угрюмо уточнил он, потому что я все еще тараторил на него. — “Боли и не почувствовал”. “Даже не понял, что случилось”.

И тут — разом — до меня дошло, скользнуло по мне холодом понимание того, что это могло значить. Мама тоже “умерла мгновенно”. Она “боли и не почувствовала”. Соцработники так долго это повторяли на все лады, что я и не задумался ни разу о том, а с чего это они так в этом уверены.

— Хотя, вынужден признать, трудно было представить, что он умер вот так, — в резко наступившей тишине произнес Хоби. — Вспышка света. Упал, ничего не поняв. Я вроде даже чувствовал иногда, что все было не так, как мне сказали, понимаешь?

— Что, извините? — я взглянул на него — голова у меня шла кругом от жуткой новой мысли, на которую я натолкнулся.

— Проститься у врат, — сказал Хоби. Казалось, будто отчасти он сам себе это

говорит. — Вот чего бы ему хотелось. Прощальный взгляд, предсмертное хокку — он не хотел бы уйти без того, чтоб задержаться на минутку и поговорить с кем-нибудь напоследок. “Выпью ли чаю в белых вишни цветах на пути последнем”.

Я совсем ничего не понял. Одиноким луч солнца прорвался сквозь занавеси и пронзил полутемную комнату, угодив в поднос с хрустальными декантерами, где он запылал и рассыпался призмами, которые заискрились, замельтешили туда-сюда, заколыхались высоко на стенах, будто инфузории-туфельки под микроскопом. Сильно пахло древесным дымом, но камин был черным, остывшим, решетка забита золой, как будто его уже долго не зажигали.

— Девочка, — робко сказал я.

Он снова посмотрел на меня.

— Там еще была девочка.

Поначалу он вроде как ничего не понял. Потом распрямился в кресле и заморгал так быстро, словно ему в лицо плеснули водой.

— Что? — спросил я, вздрогнув. — Где она? С ней все нормально?

— Нет, — он потер переносицу, — нет.

— Но она жива? — верилось с трудом.

Он поднял брови так, что я понял — “да”.

— Ей повезло. — Однако и его голос, и то, как он это сказал, скорее, говорили об обратном.

— Она здесь?

— Ну...

— Где она? Можно ее увидеть?

Он вздохнул, и во вздохе послышалось что-то очень похожее на отчаяние.

— Ей велено лежать в тишине и не принимать никаких гостей, — сказал он, роясь в карманах, — она сама не своя, не знаешь, как может отреагировать.

— Но она поправится?

— Ну, будем надеяться. Но опасность пока не миновала. Если уж выразаться теми же туманными фразами, которые без конца твердят врачи.

Из кармана халата он вытащил пачку сигарет. Закурил неуверенным движением, потом небрежно швырнул пачку на расписной японский столик, стоявший между нами.

— Чего? — спросил он, отгоняя дым от лица, когда увидел, что я гляжу на измятую пачку сигарет, французских, таких, какие курили в старых фильмах. — Только не говори мне, что тоже хочешь.

— Нет, спасибо, — сказал я после неловкой паузы. Я был почти уверен, что он пошутил, хоть и не на сто процентов, конечно.

В ответ он резко заморгал, глядя на меня сквозь табачный дым с таким встревоженным видом, как будто только что понял про меня что-то очень важное.

— Это ведь ты, правда? — неожиданно спросил он.

— Простите?

— Ты — тот мальчик, верно? У которого там мать погибла?

Я так остолбенел, что поначалу и сказать ничего не мог.

— Как... — спросил я, попытавшись и не сумев выговорить, — как вы узнали?

Смутившись, он потер глаз и вдруг резко распрямился, вскинувшись так, будто пролил вино на стол.

— Прости. Я не хотел... То есть... Плохо как вышло. Господи, я... — он вяло повел

рукой, будто говоря: прости, утомился, не соображаю.

Я не слишком вежливо отвернулся, ослепленный муторным, нежеланным всплеском эмоций. С тех пор как мама умерла, я почти и не плакал, тем более — у всех на виду, я не плакал даже на поминальной службе, где люди, которые были с ней едва знакомы (и паратройка тех, кто, как, например, Матильда, превращал ее жизнь в ад), всю сморкались и всхлипывали.

Он заметил, что я расстроился, начал было что-то говорить, но передумал.

— Ты ел? — вдруг спросил он.

Я так удивился, что даже ничего не ответил. О еде я сейчас думал меньше всего.

— Ага, я так и думал, — сказал он и встал, хрустнув суставами. — Пойдем-ка, соорудим что-нибудь.

— Не хочу я есть, — сказал я так грубо, что стыдно стало. С тех пор как мама умерла, все, похоже, только и думали о том, как бы набить меня едой по самое горло.

— Конечно, конечно, — он помахал рукой, разгоняя облако табачного дыма. — Но все равно, пойдем. Порадуй меня. Ты не вегетарианец случаем, нет?

— Нет, — обидевшись, сказал я. — С чего вы взяли?

Он хохотнул — резко, коротко.

— Полегче! У нее куча друзей-вегетарианцев, как и она сама.

— А, — вяло отозвался я, и он поглядел на меня с какой-то живой, неспешной веселостью.

— Ну, чтоб ты знал, я тоже не вегетарианец, — сказал он. — Что угодно съем, чем страннее, тем лучше. Так что мы с тобой уж управимся.

Он отворил дверь, и я пошел за ним по заставленному вещами коридору, стены которого были увешаны потускневшими зеркалами и старыми фотографиями. Хоть он и быстро шагал впереди, мне страшно хотелось задержаться и рассмотреть их: групповые семейные снимки, белые колонны, веранды и пальмы. Теннисный корт, на лужайке разостлан персидский ковер. Прислуга, все в белом, важно выстроилась в рядок. Я углядел мистера Блэквелла — крючконосый, приметный, в белом костюме, молодой, но уже с горбом. Он привалился к низкой каменной изгороди в каком-то курортном городе с пальмами, возле него — на голову выше, стоя на изгороди и положив руку ему на плечо, — улыбалась ясельная Пиппа. Совсем кроха, но узнавалась влет: та же кожа, те же глаза, голова так же склонена набок, и рыжие волосы — как и у него.

— Это она, да? — спросил я и тотчас же понял, что этого никак не может быть. Это выцветшее фото с людьми в старомодной одежде было явно сделано задолго до моего рождения.

Хоби развернулся, подошел посмотреть.

— Нет, — тихонько ответил он, заложив руки за спину. — Это Джульетта. Мать Пиппы.

— А где она?

— Джульетта? Умерла. От рака. В прошлом мае шесть лет было, — тут, поняв, что говорит слишком отрывисто, он добавил: — Велти был старшим братом Джульетты. Точнее, единокровным. Один отец, матери разные, тридцать лет разницы. Но он ее воспитывал как собственную дочь.

Я подошел поближе, чтобы получше разглядеть фото. Она склонилась к нему, мило прижалась щекой к рукаву его пиджака.

Хоби прокашлялся:

— Она родилась, когда ее отцу было уже за шестьдесят, — тихо сказал он, — и он был староват для того, чтоб возиться с маленькими детьми, особенно если учесть, что к детям он в принципе никогда не питал слабости.

В противоположном конце коридора была полуоткрыта дверь, он распахнул ее и встал на пороге, вглядываясь в тишину. Стоя на цыпочках, я изо всех сил тянул шею у него из-за спины, но он тотчас же отступил назад и защелкнул дверь.

— Это она? — хоть в темноте и мало что было видно, я успел разглядеть неприветливый блеск звериных глаз, тревожное зеленоватое сияние в углу комнаты.

— Не сейчас, — говорил он так тихо, что я едва его слышал.

— А кто там, с ней? — прошептал я, топчась возле двери, не желая уходить. — Кошка?

— Собака. Сиделка не разрешает, но она хочет, чтоб он лежал с ней и, по правде сказать, я и удержать его не могу, потому что он скребется в дверь и скулит. Так, сюда.

Медленно, скрипуче переступая, по-стариковски клонясь вперед, он отворил дверь на тесную кухоньку со слуховым окном в потолке и старой объемистой плитой помидорно-красного цвета, с плавными линиями, будто у космического корабля пятидесятых. Стопки книг на полу — поваренные книги, словари, старые романы, энциклопедии; полки тесно уставлены старинным фарфором — с полдюжины разных узоров. Возле окна у пожарной лестницы воздела руки в благословении деревянная фигура святого, на буфете подле серебряных чайных приборов лезли парами в Ноев ковчег разукрашенные животные. Раковина была завалена грязной посудой, на столах и подоконниках громоздились бутылочки с лекарствами, грязные чашки, угрожающих размеров сугробы непрочитанной почты, засохшие, побуревшие цветы в горшках.

Он усадил меня за стол, сдвинув в сторону счета за газ и старые номера журнала “Антиквариат”.

— Чай, — сказал он таким тоном, будто добавил еще один пункт к списку покупок.

Пока он хлопотал у плиты, я разглядывал кольца от кофейных чашек на скатерти. Затем заерзал на стуле, огляделся.

— Гм... — начал я.

— Да?

— А потом ее можно будет увидеть?

— Может быть, — ответил он, стоя ко мне спиной. Венчик ходил ходуном в голубой фарфоровой миске: щелк, щелк, щелк. — Если проснется. Ей очень больно, а от лекарств она спит.

— Что с ней произошло?

— Ну, — говорил он отрывисто и в то же время сдержанно, и этот тон я узнал сразу — сам точно так же отвечал на расспросы о маме. — Сильный удар по голове, перелом черепа и, сказать по правде, она даже в коме была какое-то время, кроме того, левая нога у нее была так переломана, что ее чуть не отняли. “Носок с горохом”, — добавил он с невеселым смехом, — как сказал врач, поглядев на рентгеновский снимок. Двенадцать переломов. Пять операций. На прошлой неделе, — сказал он, полуобернувшись, — ей вынули штифты, она умоляла, чтоб ей разрешили вернуться домой, и ей разрешили. Но только при условии, что к нам на полдня будет приходить сиделка.

— Она уже может ходить?

— Нет, конечно, — сказал он, затягиваясь сигаретой, он как-то исхитрился одной рукой курить, другой — готовить, будто морской волк или повар в поселке лесорубов из какого-

нибудь старого фильма. — Она и сидеть-то не может больше полчаса.

— Но она поправится?

— Ну, мы надеемся, — ответил он не слишком-то обнадеживающим тоном. — Знаешь, — добавил он, взглянув на меня, — удивительно, что ты там был и остался цел.

— Ну-у... — я так и не знал, что надо отвечать, когда мне говорили — довольно часто, кстати, — что я-то “остался цел”.

Хоби кашлянул, потушил сигарету.

— Ну, что ж, — по его лицу было видно — он понял, что расстроил меня и сожалеет об этом. — Они ведь и с тобой уже разговаривали? Полицейские?

Я разглядывал скатерть.

— Да.

Я знал, чем меньше я про это скажу, тем лучше.

— Ну, не знаю, как насчет тебя, а мне они показались людьми порядочными, весьма знающими. Один был ирландец, он такого навиделся, все рассказывал мне про бомбы в чемоданах в Англии и в парижском аэропорту, еще в каком-то уличном кафе в Танжере, мол, десятки погибших, а человек, который сидел прямо рядом с бомбой — целехонек. Рассказывал еще, что чего только они после взрывов не видели — особенно в старых зданиях. Замкнутые пространства, неровные поверхности, материалы-отражатели — все очень непредсказуемо. Как акустика, говорит. Взрывная волна похожа на звуковую — отскакивает и преломляется. Бывает, за километры от взрыва витрины лопаются. А иногда, — он запястьем отвел с глаз прядь волос, — рядом с источником взрыва можно наблюдать, как он выразился “щитовой эффект”. Предметы, которые находились близко к бомбе, остаются нетронутыми — взять хотя бы тот случай, когда после взрыва ИРА начисто смело дом, а на столе осталась стоять целая чашка. Знаешь, люди ведь гибнут от осколков стекла и разлетевшихся обломков — зачастую довольно далеко от самого взрыва. Камешек или кусок стекла, который летит с такой скоростью, бьет не хуже пули.

Я обводил пальцем цветы на скатерти:

— Я...

— Прости. Может, не стоит говорить про такое.

— Нет, нет, — торопливо заговорил я, на самом-то деле я с громадным облегчением слушал, как кто-то наконец говорит прямо и по делу о том, от чего большинство людей всеми силами старалось увернуться. — Не в этом дело. Просто...

— Да?

— Я все думаю. А как она выбралась?

— Ну, ей повезло. Ее засыпало огромной кучей мусора — пожарные ее и не нашли бы, если б не залаяла собака. Они наполовину расчистили завал, подперли балку — и представляешь еще, она ведь все это время была в сознании, разговаривала с ними всю дорогу, хоть сейчас ничего и не помнит. Чудо, что они успели ее вытащить, ровно перед тем, как всем срочно велели покинуть музей, — сколько, ты говорил, ты пробыл без сознания?

— Не помню.

— Ну, и тебе повезло. Если б им пришлось уйти и оставить ее там, под завалами — а именно это, как я понимаю, случилось с некоторыми людьми там... А, наконец-то, — сказал он, когда засвистел чайник.

Он поставил передо мной тарелку с едой, на первый взгляд — ничего особенного: тост, а на нем — пышная желтая масса. Но пахло аппетитно. Я осторожно откусил кусочек.

Расплавленный сыр, накрошенные помидоры, кайенский перец и еще что-то — я не мог разобрать что, но вкус был восхитительный.

— Простите, а что это? — спросил я, осторожно откусывая еще кусочек.

Он слегка смутился.

— Ну, вообще это блюдо никак не называется.

— Очень вкусно, — сказал я, слегка даже оторопев от того, какой я был голодный.

Зимними воскресными вечерами мама иногда готовила почти такие же тосты с сыром.

— Ты сыр любишь? Надо было вообще-то спросить заранее.

Я кивнул, с набитым ртом говорить было невозможно. Хоть миссис Барбур и совала мне вечно мороженое и всякие сладости, ощущение было такое, что я и не ел нормально с того самого дня, как умерла мама — по крайней мере не ел ничего нормального для нас с ней: жаркого на скорую руку, яичницы, полуфабрикатных макарон с сыром — сидя на стремянке в кухне, рассказывая маме, как прошел день.

Пока я ел, он сидел напротив, подперев подбородок большими белыми руками.

— А что ты любишь? — вдруг спросил он. — Спорт?

— То есть?

— Ну, чем интересуешься? Спортом, играми, например?

— Ну... видеоиграми. Типа “Эйдж оф Конквест”, “Якудза Фрикаут”.

Он явно смешался.

— А в школе? Есть любимые предметы?

— Ну, история, наверное. И английский, — добавил я, когда он ничего не ответил. — Но теперь месяца полтора на английском будет очень скучно, мы закончили с литературой и снова перешли к грамматике, рисуем теперь схемы предложений.

— А какая литература? Английская или американская?

— Сейчас американская. Ну, то есть была американская. И еще у нас в этом году история Америки. Хотя в последнее время там одна скукота. Мы только что слезли с Великой депрессии, здорово будет снова заняться Второй мировой.

Так хорошо я давно уже ни с кем не разговаривал. Он задавал всякие интересные вопросы, вроде того, что мы читали на литературе и чем средняя школа отличалась от начальной, какой предмет давался мне труднее всего (испанский) и какой период в истории мне больше всего нравился (я и сам толком не знал, да все что угодно, наверное, кроме Юджина Дебса и истории объединения профсоюзов, на которой мы уж очень долго сидели), и еще кем бы я хотел стать, когда вырасту (без понятия) — самые обычные вопросы, но все равно здорово было для разнообразия пообщаться со взрослым, которого интересовало обо мне хоть что-то, кроме случившегося со мной несчастья, который не вытягивал из меня информацию и не отчеркивал в уме галочками Фразы, Которые Обязательно Надо Сказать Ребенку, Пережившему Тяжелое Потрясение.

Мы уже добрались до писателей — начали с Теренса Уайта и перешли к Толкиену и Эдгару По, которого я тоже очень любил.

— Отец говорит, что По — второсортный писатель, — сказал я, — что он Винсент Прайс американской словесности. Но, по-моему, несправедливо так говорить.

— Несправедливо, — серьезно подтвердил Хоби, наливая себе чаю. — Даже если не любишь По — он ведь все-таки изобрел детективы. И научную фантастику. В сущности, он изобрел большую часть двадцатого века. Ну то есть, если по-честному, сейчас он мне уже не так нравится, как в детстве, но даже если ты его не любишь, нельзя просто взять и записать

его в удаче.

— Отец так считал. Он обычно ходил по комнате и декламировал “Аннабель Ли” дурацким голосом, чтобы меня побесить. Потому что знал, что мне это нравится.

— Так значит, твой отец — писатель.

— Нет. — Непонятно было, с чего он это взял. — Он актер. Был актером. — Еще до моего рождения он засветился в парочке телесериалов, главных ролей ему никогда не доставалось, в основном он играл каких-нибудь избалованных бабников — друзей главных героев или продажных дельцов, которых в результате убивали.

— Известный?

— Нет. Он теперь в офисе работает. Ну, или работал.

— И чем он теперь занимается? — спросил он.

Он надел кольцо на мизинец и то и дело вертел его большим и указательным пальцами другой руки, будто хотел убедиться, что оно на месте.

— Кто знает. Он нас бросил.

К моему удивлению, он рассмеялся:

— Ну и слава богу!

— Ну-у... — я пожал плечами. — Даже не знаю. Иногда с ним было норм. Мы смотрели вместе спорт по телику и полицейские сериалы, а он рассказывал, как делают все эти спецэффекты с кровью, все такое. Но я... я даже не знаю. Иногда он, например, приезжал за мной в школу пьяным. — Об этом я не говорил ни с Психо-Дейвом, ни с миссис Свонсон, вообще ни с кем. — Я побоялся маме рассказывать, но ей сказал кто-то из матерей в школе. А потом... — история была длинная, мне было стыдно, и я хотел все подсократить — ...он сломал руку в баре, подрался там с кем-то, он в этот бар каждый день ходил, а мы не знали, потому что он нам говорил, что работает допоздна, и у него там была компания друзей, про которых мы вообще ни сном ни духом, и они ему слали открытки из отпуска, типа там с каких-нибудь Виргинских островов — прямо на наш домашний адрес, вот так мы обо всем и узнали, и мама пыталась заставить его записаться к Анонимным алкоголикам, но он не соглашался. А еще швейцары иногда вставали у нас под дверь и принимались шуметь, так, чтоб отец слышал, что они там, понимаете? Чтобы он держал себя в руках.

— Держал в руках?

— Ну, обычно он орал много и все такое. В основном только он и орал. Но, — мне сделалось неловко, потому что я понял, что сказал больше, чем хотел, — вообще, он просто шумел и все. Ну, не знаю, например, когда мама работала, а ему приходилось со мной сидеть. Он вечно был в плохом настроении, и мне было запрещено с ним разговаривать, если он смотрел новости или спорт — такое было правило. Ну, то есть... — я растерянно смолк, поняв, что загнал себя в угол. — Короче. Это все давно очень было.

Он откинулся на спинку стула и посмотрел на меня: огромный, сдержанный, невозмутимый мужчина с взволнованно-голубыми глазами мальчишки.

— А теперь? — спросил он. — Нравятся тебе люди, у которых ты живешь?

— Эээ... — я замолчал, жуя, совершенно не зная, как объяснить ему про Барбуров. — Они вроде ничего.

— Я рад. Ну, то есть не могу сказать, что хорошо знаю Саманту Барбур, хоть в прошлом и делал кое-какие заказы для ее семьи. Вкус у нее есть.

Тут я перестал жевать.

— Вы знаете Барбуров?

— Ее. Его не знаю. Но у его матери была внушительная коллекция антиквариата, только, по-моему, из-за какой-то семейной ссоры все досталось брату. Велти бы тебе побольше рассказал. Он, конечно, сплетником не был, — поспешно прибавил он, — нет, Велти был очень осмотрительным, рот всегда держал на замке, но такой он был человек, что люди с ним откровенничали, понимаешь? Сущие незнакомцы, клиенты, которых он едва знал, рассказывали ему свои секреты, он был из тех, кому люди вечно поверяют свои печали. Однако, верно, — он скрестил руки, — каждый галерист и продавец антиквариата в Нью-Йорке знает Саманту Барбур. В девичестве она была Ван дер Плейн. Покупать она особо ничего не покупала, хоть Велти изредка и замечал ее на аукционах, и уж, конечно, кое-какие симпатичные вещички у нее имеются.

— Кто вам сказал, что я живу у Барбуров?

Он быстро заморгал.

— В газете писали, — ответил он. — Ты что, не читал?

— В газете?

— В “Таймс”. Не читал? Правда?

— В газете что-то писали про меня?

— Нет, нет, — быстро заговорил он, — не про тебя. Про детей, которые потеряли близких тогда в музее. Большинство были туристами. Была там одна маленькая девочка... совсем кроха, дочка дипломата из Южной Америки...

— Что про меня написали в газете?

Он поморщился.

— Ну, знаешь — остался сиротой... нашел приют у светской львицы, активно занимающейся благотворительностью, всякое такое. Сам, наверное, представляешь.

Я растерянно уставился в тарелку. Сирота? Благотворительность?

— Очень милая была статья. Я так понимаю, ты ее сына защитил от хулиганов? — спросил он, пригнув большую седую голову, чтоб поймать мой взгляд. — В школе? Второго одаренного мальчика, которого перевели в класс постарше?

Я покачал головой:

— То есть?

— Сына Саманты? Которого ты защитил в школе от больших мальчишек? За это тебя побили — что-то в таком роде?

Я опять помотал головой — в полном недоумении.

Он рассмеялся:

— Вот так скромность! Тут нечего стесняться.

— Но все было не так, — растерянно сказал я. — Нас обоих дразнили и били. Каждый день.

— И про это в статье было написано. Тем более примечательно, что ты за него вступился. Ну, тогда, с разбитой бутылкой? — напомнил он, когда я ничего не ответил. — Кто-то пытался порезать сына Саманты разбитой бутылкой, а ты...

— А, тогда, — сказал я, смутившись, — да это так, ничего особенного.

— Но ведь тебя самого порезали. Когда ты пытался ему помочь.

— Да все не так было! Кавана на нас обоих набросился. А на тротуаре валялся осколок стекла.

Он снова рассмеялся, густым, резким смехом большого мужчины, который до странного разнился с его подчеркнута рафинированным выговором.

— Ну, как бы оно там ни было, — сказал он, — а ты попал в весьма интересную семью.

Он встал, подошел к буфету, вытащил оттуда бутылку виски и плеснул на пару пальцев в не слишком чистый стакан.

— Саманту Барбур не назовешь доброй и отзывчивой душой — по крайней мере по ней этого не скажешь, — сказал он. — Но, похоже, она много добра делает этими своими фондами и сбором средств, верно?

Я молчал, он убрал бутылку обратно в буфет. Наверху, в окошке свет был молочно-серым, по стеклу сыпало мелким дождиком.

— А вы откроете магазин снова?

— Ну-у, — вздохнул он, — этим всем занимался Велти, клиентами, продажами. А я — я краснодеревщик, а не бизнесмен. *Brocanteur, bricoleur*^[22]. Я в магазин и не поднимался почти, все сидел себе внизу, полировал да ошкуривал. А теперь его нет — и все еще так свежо. Люди заходят за вещами, которые он продал, мне доставляют что-то, а я и не знал, что он это купил, я и понятия не имею, где все документы, не знаю, какая бумажка для чего... у меня к нему скопился миллион вопросов, я бы все на свете отдал, лишь бы поговорить с ним хоть пять минут. Особенно... особенно насчет Пиппы. Насчет ее лечения и... ну вот так.

— Ясно, — сказал я, понимая, как убого это прозвучало.

Мы приблизились к тревожной черте, за которой начинались мамины похороны, затянувшееся молчание, улыбки не попад, — к месту, где слова не действовали.

— Он был чудесным человеком. Немного было таких, как он. Вежливый, обаятельный. Из-за его горба его вечно жалели, а я в жизни не встречал никого, кто, как он, с самого рождения, был бы наделен таким счастливым мироощущением, ну и покупатели его, конечно, обожали... Разговорчивый, общительный, всегда таким был... “Раз мир не идет ко мне, — бывало, говорил он, — то я должен выйти к нему”...

И тут звякнул айфон Энди: пришла эсэмэска.

Хоби, не донеся стакан до рта, резко вздрогнул:

— Это что?

— Минутку, — сказал я, роюсь в карманах.

Эсэмэска была от Фила Лефкова, который учил японский вместе с Энди: “привет тео, это энди, все ок?” Я торопливо выключил телефон и сунул его обратно в карман.

— Простите, — сказал я, — так что вы говорили?

— Я и забыл, — несколько секунд он глядел в пустоту, потом покачал головой. — Я и не думал, что снова это увижу, — сказал он, глядя на кольцо. — Так на него похоже — попросить тебя принести его сюда, отдать мне в руки. Я... ну, конечно, я ничего такого никому не сказал, но был уверен, что его кто-то прикарманил в морге...

И снова телефон противно, пискляво звякнул.

— Ой, простите! — сказал я, снова его вытащив.

Энди писал: “Хочу убедиться, что тебя не режут!”

— Простите, — повторил я, прижимая кнопку, чтоб уж наверняка, — вот, теперь точно выключил.

Но он только улыбнулся в ответ и глянул в стакан. Капли дождя постукивали и стекали по стеклу в потолок, отбрасывая мокрые тени, которые струились по стенам. Я стеснялся сам заводить разговор и ждал, что он сам возобновит беседу, но он молчал, и мы так и сидели мирно с ним на кухне — я потягивал остывающий чай (лапсанг сушонг с дымным, чудноватым вкусом) и ощущал всю странность моей жизни и того, где я оказался.

Я отодвинул тарелку.

— Спасибо, — послушно сказал я, обежав взглядом кухню, — все было очень вкусно. —

По привычке я говорил так ради мамы, если она вдруг слушает.

— Ой, как вежливо! — рассмеялся он, но не злобно, а так, что было понятно, он по-дружески. — Нравится тебе?

— Что?

— Мой Ноев ковчег, — он кивнул в сторону полки. — Я думал, ты на него смотришь.

Потертые деревянные животные (слоны, тигры, быки, зебры, все на свете — до пары крошечных мышек) терпеливо стояли в очереди на посадку.

— Это ее? — спросил я, зачарованно помолчав — животные были выставлены с такой любовью (большие кошки подчеркнуто не смотрят друг на друга, павлин отвернулся от павы, чтобы полюбоваться своим отражением в тостере), что я мог себе представить, как она часами их расставляет, чтобы все было именно так, как надо.

— Нет, — его руки сомкнулись на столе, — это чуть ли не самый первый антиквариат, который я купил, тридцать лет назад. На распродаже народных американских промыслов. Я в народных промыслах особо не разбираюсь, никогда в них ничего не понимал — и эта штука не самого высшего качества, никуда в доме не вписывается, но скажи, ведь правда самые неподходящие вещи, вещи, которые вроде и ни к чему, и становятся тебе всего дороже?

Я отодвинул стул, не в силах сидеть смиренно.

— А сейчас к ней можно? — спросил я.

— Если она проснулась, — он поджал губы, — ну, я не вижу в этом ничего дурного. Но помни, только на минутку. — Когда он встал, его громоздкая, ссутуленная высота снова застала меня врасплох. — Но предупреждаю, у нее... каша в голове. И еще, — он обернулся в дверях, — если получится, то лучше не говори ничего про Велти.

— Она ничего не знает?

— Знает, — говорил он отрывисто, — знает, но иногда, когда ей говоришь, она снова расстраивается. Спрашивает, когда это случилось и почему ей никто ничего не сказал.

2.

Занавеси в комнате были наглухо задвинуты, и когда он впустил меня в комнату, я поначалу ничего не видел в ароматной, пахнущей духами темноте, к которой примешивались запахи лекарств и болезни. Над кроватью в рамке висела афишка фильма “Волшебник страны Оз”. В красном стакане-подсвечнике — среди четок и безделушек, нот, старых валентинок и бумажных цветов — оплывала парфюмированная свеча, вокруг лежали, казалось, сотни открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, а под потолком зловеще парила связка серебристых воздушных шаров, блестящие ниточки которых тянулись вниз, будто жала медуз.

— К тебе гости, Пип, — сказал Хоби бодрым, громким голосом.

Одеяло шевельнулось. Показался локоть.

— Угу-ммм? — послышался сонный голос.

— Милая, темно-то как. Может, давай-ка я раздвину шторы?

— Нет, не надо, пожалуйста, у меня от света глаза болят.

Она оказалась поменьше, чем мне помнилось, а ее лицо — расплывчатое пятно во мраке

— было очень белым. Почти вся голова у нее, за исключением одного-единственного локона надо лбом, была выбрита. С легким трепетом подойдя поближе, я заметил что на виске у нее поблескивает что-то металлическое — я было подумал, заколка или шпилька, но потом различил, что над ухом у нее грозным клубком свернулись стальные медицинские скобы.

— Я вас слышала в коридоре, — сказала она тихим хриловатым голосом, переводя взгляд то на меня, то на Хоби.

— Что слышала, голубка? — спросил Хоби.

— Как вы разговаривали. И Космо вас слышал.

Поначалу я не заметил собаки, но потом разглядел — рядом с ней, зарывшись в подушки и мягкие игрушки, свернулся серый терьер. Пес задрал голову, и по его седой морде и затынутым катарактой глазам стало ясно, что он уже очень старый.

— А я думал, голубка, ты спишь, — сказал Хоби, почесывая собаку под подбородком.

— Ты всегда так говоришь, а я всегда не сплю. Привет, — сказала она, глянув на меня.

— Привет.

— Ты кто?

— Меня зовут Тео.

— Ты какую музыку любишь?

— Не знаю, — ответил я, а потом добавил, чтоб не показаться тупым: — Я люблю Бетховена.

— Здорово. Ты похож на человека, которому нравится Бетховен.

— Правда? — ошеломленно переспросил я.

— Это комплимент. Я вот не могу слушать музыку. Из-за головы. Совсем ужас. Нет, — сказала она Хоби, который убирал бинты, книжки и обертки от бумажных салфеток со стула возле кровати, чтобы мне было куда сесть, — пусть сюда сядет. Можешь здесь сесть, — сказала она мне, чуть сдвинувшись в кровати и освободив мне место.

Я взглянул на Хоби за разрешением, потом аккуратно, одним бедром примостился на кровати, стараясь не потревожить пса, который поднял голову и злобно уставился на меня.

— Не бойся, он не укусит. Ну, хотя иногда кусается, — она посмотрела на меня дремотным взглядом. — Я тебя знаю.

— Помнишь меня?

— Мы друзья?

— Да, — ответил я, не подумав, смутился, что соврал, и глянул на Хоби.

— Прости, я не помню, как тебя зовут. А вот лицо помню, — потом, поглаживая собаку, добавила: — Я когда вернулась домой, не узнала свою комнату. Кровать узнала, все вещи — узнала, а вот комната была другой.

Теперь мои глаза уже полностью привыкли к темноте, и я видел и кресло-каталку в углу, и бутылочки с лекарствами на прикроватном столике.

— А что у Бетховена тебе нравится?

— Ээээ... — я не сводил глаз с ее руки, лежавшей поверх одеяла, с нежной кожи, заклеенной на сгибе локтя пластырем.

Она заворочалась в кровати, переведя взгляд с меня на силуэт Хоби в дверях, в ярком свете из коридора.

— Мне ведь нельзя много разговаривать, да? — спросила она.

— Нельзя, голубка.

— А по-моему, я не очень устала. Сама не пойму. Ты днем устаешь? — спросила она.

— Бывает. — После маминой смерти я часто стал засыпать на уроках, а после школы вырубался у Энди в комнате. — Раньше не уставал.

— Вот и я. А теперь вечно хочу спать. С чего бы? По-моему, это такая тоска.

Оглянувшись на освещенный дверной проем, я заметил, что Хоби отошел на минутку. На меня это было не похоже, но я почему-то умирал от желания взять ее за руку, и это я и сделал, едва мы остались одни.

— Ты не против? — спросил я.

Все как будто замедлилось, я словно пробивался сквозь толщу воды. Так странно было держаться за руку — за руку с девчонкой — и до чего же нормально. Раньше я ничего такого никогда не делал.

— Вовсе нет. По-моему, это очень мило, — и немного помолчав — я услышал, как храпит маленький терьер, — спросила: — Не возражаешь, если я глаза закрою на секундочку?

— Нет, — ответил я, проводя большим пальцем по ее костяшкам, прочертив им все косточки.

— Я знаю, что это ужасно невежливо, но ничего не могу поделать.

Я глядел на ее потемневшие веки, растрескавшиеся губы, на ее синяки и бледность, на уродливые металлические метины над ухом. От того, как странно в ней сочеталось все самое волнующее и то, что таковым не должно было быть, я смешался, голова пошла кругом.

Я виновато оглянулся и заметил, что Хоби снова стоит в дверях. Выйдя в коридор на цыпочках, я тихонько прикрыл за собой дверь, радуясь, что тут так темно.

Вместе с Хоби мы вернулись в гостиную.

— Ну и как она тебе? — спросил он так тихо, что я едва расслышал.

Что я ему мог ответить?

— Ну, вроде нормально.

— Она переменилась. — Он уныло смолк и засунул руки поглубже в карманы халата. — То есть это она и не она. Многих близких вообще не узнает, говорит с ними очень официально, а к чужим людям тянется, болтает с ними как со знакомыми, и как со старыми друзьями общается с теми, кого раньше и в глаза не видела. Мне сказали, что такое часто бывает.

— А почему ей нельзя слушать музыку?

Он вздернул бровь.

— О, иногда она ее слушает. Но, бывает, особенно по вечерам, музыка ее расстраивает — она начинает думать, что ей нужно упражняться, что нужно разучить какое-то произведение для школы, мечется. Очень тяжело. Когда-нибудь, конечно, на любительском уровне она сможет играть, ну, мне вроде так сказали....

Вдруг в дверь позвонили, и мы оба вздрогнули.

— Ага, — засуетился Хоби, взглянув, как я отметил, на невероятной красоты старые наручные часы, — пришла медсестра.

Мы поглядели друг на друга. Разговор был не окончен, нам еще столько всего нужно было сказать.

Снова звонок. В конце коридора загавкала собака.

— Рановато она, — заторопился Хоби, вид у него был слегка отчаявшийся.

— А можно я еще приду? Навещу ее?

Он затормозил. Казалось, он потрясен тем, что я вообще спросил такое.

— Ну, разумеется, можно, — сказал он, — приходи...

Звонок.

— ... когда хочешь, — сказал Хоби. — Пожалуйста. Мы тебе всегда рады.

3.

— Ну и как все прошло? — спросил Энди, пока мы переодевались к ужину. — Странно было?

Платт уехал на вокзал — он возвращался в школу, миссис Барбур ужинала с учредителями какого-то там благотворительного фонда, а мистер Барбур вел нас в ресторан при яхт-клубе, куда мы ходили только если миссис Барбур была вечером занята.

— Этот мужик знает твою мать.

Завязывая галстук, Энди скорчил гримаску: да его мать все знают.

— Странновато было, конечно, — сказал я. — Но хорошо, что я туда съездил. Держи, — добавил я, засунув руку в карман, — спасибо за телефон.

Энди поглядел, нет ли сообщений, выключил телефон и сунул его в карман. Постояв так какое-то время, с рукой в кармане, он поднял голову, но посмотрел не на меня:

— Все плохо, я знаю, — вдруг сказал он. — Очень жаль, что с тобой такая херня случилась.

Из-за его безжизненного, как запись автоответчика, голоса, я сразу и не понял, что он говорит.

— Она была очень милая, — сказал он, по-прежнему на меня не глядя, — ну, то есть...

— Ну да, — пробормотал я, не горя желанием продолжать разговор.

— Ну, как бы, я скучаю по ней, — сказал Энди наконец, почти что испуганно глянув мне в глаза, — я раньше никого не знал, кто бы умер. Ну, кроме дедушки Ван дер Плейна. То есть никого, кто бы мне нравился.

Я молчал. Мама всегда питала слабость к Энди — терпеливо расспрашивала про его домашнюю метеорологическую станцию, перешучивалась с ним насчет того, сколько очков он уже набрал в “Галактических сражениях”, пока он не покраснеет от удовольствия. Молодая, озорная, неугомонная, ласковая — она была полной противоположностью его матери: эта мама вместе с нами швыряла фрисби в парке и обсуждала фильмы про зомби, разрешала нам субботним утром валяться с ней кровати, есть цветные сахарные хлопья и смотреть мультики; меня даже злило иногда то, каким оживленным, одуревшим Энди становился в ее присутствии — вечно ходил за ней хвостом, бубнил что-то там про четвертый уровень какой-нибудь очередной игры и не мог оторвать глаз от ее зада, когда она нагибалась, чтобы достать что-нибудь из холодильника.

— Она была крутяцкая, — сказал Энди своим нездешним голосом. — Помнишь, как она аж в Нью-Джерси повезла нас на автобусе на тот конвент любителей ужастиков? А помнишь Рипа, того маньяка, который все таскался за нами и уговаривал ее сняться в фильме про вампиров?

Я знал, что побуждения у него — самые лучшие. Но я еле-еле выносил все эти разговоры про маму и как оно все было До Того и потому отвернулся.

— По-моему, он к ужастикам вообще не имел никакого отношения, — продолжал Энди своим слабым, раздражающим голосом. — По-моему, он был фетишист какой-то. Все, что

он там болтал про подземные лаборатории и привязанных к столам девушек, по ходу было старой доброй бондажной порнухой. А помнишь, как он умолял ее примерить вампирские клыки?

— Ага. Как раз после этого она и пошла к охране.

— Кожаные штаны, этот его пирсинг. Слушай, кто знает, конечно, может, он и правда снимал фильм про вампиров, но видно же, что он был просто мегаизвращенцем? С такой-то улыбочкой. И в вырез он ей все время пялился.

Я показал ему средний палец.

— Ладно, пошли, — сказал я. — Есть охота.

— Что, правда?

После маминой смерти я похудел килограммов на пять — хватило, чтоб это заметила миссис Свонсон и начала (вот стыдоба) взвешивать меня у себя в кабинете на весах, куда она обычно ставила девчонок с пищевыми расстройствами.

— А ты что, не хочешь?

— Хочу, но я думал, ты у нас следишь за фигурой. Чтоб на выпускном в платье влезть.

— Да пошел ты в жопу, — добродушно сказал я, открыв дверь и столкнувшись нос к носу с мистером Барбуром, который стоял прямо на пороге — уж не знаю, то ли подслушивал, то ли как раз хотел постучать.

Сторая со стыда, я аж заикаться начал — у Барбуров в доме ругаться было строго запрещено, но мистер Барбур не очень-то и возмутился.

— Что ж, Тео, — сухо сказал он, глядя поверх моей головы, — отрадно, конечно, слышать, что тебе лучше. Идемте, закажем столик.

4.

На следующей неделе все заметили, что аппетит у меня улучшился, даже Тодди.

— Закончилась твоя голодная забастовка? — как-то утром с любопытством спросил он.

— Тодди, завтракай, не отвлекайся.

— Но ведь это же так называется. Когда люди ничего не едят.

— Голодную забастовку объявляют те, кто в тюрьме сидит, — холодно сказала Китси.

— Кисуля, — угрожающе сказал мистер Барбур.

— Да, но он вчера съел три вафли, — сказал Тодди, нетерпеливо переводя взгляд от одного безразличного родителя к другому, стараясь привлечь их внимание. — А я съел только две вафли. А сегодня он съел хлопья и шесть кусков бекона, а ты сказала, что мне пять кусков бекона — многовато. А почему мне нельзя пять кусков бекона?

5.

— Приветствую, привет-привет, — сказал психиатр Дейв, закрыв дверь и усевшись напротив меня: на полу у него в кабинете лежат ковры-килимы, полки забиты старыми учебниками (“Наркотики и социум”, “Детская психология: иной подход”), бежевые портьеры разъезжаются, жужжа, если нажмешь на кнопку.

Я натянуто улыбался, глядел на пальму в кадке, бронзовую статую Будды, да на все, что

было в комнате — кроме него самого.

— Ну и? — еле слышный гул дорожного движения, подымавшийся с Первой, делал наше молчание бескрайним, межгалактическим. — Как ты сегодня?

— Ну-у...

Сеансов с Дейвом я ждал с ужасом, то была пытка, которой я подвергался два раза в неделю — хуже похода к зубному, мне было стыдно, что я его не люблю, ведь он так старался — спрашивал, какие мне нравятся фильмы, записывал мне всякие диски, вырезал статьи из геймерского журнала — вдруг мне будет интересно, а бывало, водил даже в “Эй Джейс Ланченетт” есть гамбургеры, и все равно — как начнет задавать вопросы, и я цепенею, будто меня вытолкнули играть на сцену, а я и слов-то не знаю.

— Что-то ты сегодня какой-то рассеянный.

— Эммм... — я заметил, что на полках у Дейва стояло много книжек со словом “секс” в названии: “Подростковая сексуальность”, “Секс и познание”, “Шаблоны сексуальных девиаций” и — самое мое любимое — “Выйти из сумрака: как распознать сексуальную зависимость”. — Да я ничего вроде.

— Вроде?

— Нет, все нормально. Дела у меня хорошо.

— Правда? — Дейв откинулся в кресле, поболтал кедом. — Ну, здорово.

И потом:

— А давай-ка ты быстренько мне расскажешь, что там у тебя происходит.

— Эээ... — я почесал бровь, отвернулся — ...с испанским пока не легче, в понедельник, похоже, буду писать еще одну штрафную контрольную. Зато за реферат по Сталинграду получил пятерку. Теперь по истории я с четверки с минусом поднялся до четверки.

Он так долго молчал, глядя на меня, что я почувствовал, будто меня приперли к стенке, и стал даже обдумывать, что бы еще такого сказать.

И тут он:

— А еще что?

— Ну-у... — я принялся разглядывать свои большие пальцы.

— А с тревожностью сейчас как?

— Получше, — ответил я, думая о том, как же мне неуютно от того, что я вообще ничего не знаю про Дейва.

Он был из тех, кто ходит с обручальным кольцом, которое совсем не похоже на обручальное кольцо — хотя, может, это и вправду не обручальное кольцо, а он просто до неба гордится своими кельтскими предками. Я бы предположил, что он недавно женился и у него есть маленький ребенок — веяло от него какой-то осовелостью свежееиспеченного отцовства, будто по ночам ему приходится вскакивать и менять подгузники, но — кто знает?

— А лекарства? Есть побочные эффекты?

— Мммм... — я почесал нос, — ну, сейчас получше.

Я вообще перестал пить таблетки — от них трещала башка, и я делался весь вялый, поэтому я теперь сплевывал их в слив раковины в ванной.

Дейв немного помолчал.

— То есть мы не слишком ошибемся, если скажем, что в целом тебе лучше?

— Наверное, не слишком, — ответил я, помолчав, не сводя глаз со штуковины, которая висела на стене у него над головой. Похоже было на перекошенные счеты, собранные из

глиняных костяшек и веревочных узлов — мне все казалось, что большая часть моей нынешней жизни ушла на их разглядывание.

Дейв улыбнулся:

— Ты так говоришь, будто это что-то стыдное. Но то, что тебе стало лучше, вовсе не означает, что ты позабыл о маме. Или что ты стал ее меньше любить.

Обозлившись на это его предположение — мне такое и в голову не приходило, — я отвернулся и уставился в окно, на унылое белое здание напротив.

— Как думаешь, почему тебе вдруг стало лучше? Есть идеи?

— Да не, нету, — сухо ответил я.

Нельзя было сказать, что я чувствовал себя “лучше”. Для этого и слова подходящего не было. Скорее от каких-то мелочей, таких незначительных, что и говорить не о чем — от смеха в школьном коридоре, от того, как в кабинете биологии геккон перебирает лапками в стеклянном аквариуме, — я вдруг делался то счастливым, а то чуть ли не ревел. Иногда вечерами с Парк-авеню в окна задувал сырой, колючий ветер, как раз когда на дорогах становилось посвободнее и город потихоньку пустел к ночи; накрапывал дождь, на деревьях проклевывались листья, весна набухала летом, с улицы доносились одинокие всхлипы клаксонов, от мокрого асфальта пахло электрически резко, и везде ощущалась вибрация толпы: одинокие секретарши и толстяки с пакетами еды навывнос, повсюду — несуразная печаль существ, которые продираются сквозь жизнь. На долгие недели я весь смерзся, замкнулся наглухо, в ванной я выкручивал воду на максимум — и беззвучно выл. Все саднило, ныло, путало меня и сбивало с ног, и все же — меня будто кто-то тянул через пролом во льду из студеной воды на свет, на ослепительный холод.

— Ну, и где ты был? — спросил Дейв, пытаясь поймать мой взгляд.

— Что?

— О чем ты сейчас думал?

— Ни о чем.

— Правда? Сложновато ведь совсем ни о чем не думать.

Я пожал плечами. Кроме Энди, я никому не рассказывал о том, что ездил домой к Пиппе, и все было подсвечено этой тайной, будто отсветом сна: бумажные маки, тусклый, дрожащий свет свечи, липкий жар ее руки в моей. Но, хоть это и было самое весомое, самое настоящее, что случилось со мной за долгое время, мне не хотелось портить все разговорами — особенно с ним.

Несколько долгих минут мы с ним молчали.

Затем Дейв наклонился ко мне с озабоченным выражением лица и сказал:

— Знаешь, Тео, если я тебя спрашиваю, куда ты пропадаешь, когда так вот молчишь, это не потому, что я такой мудака и хочу тебя подловить, ничего такого.

— Ну да, я понимаю, — натянуто отозвался я, ковыряя шерстяную обивку на подлокотнике кушетки.

— Я тут сижу, чтобы говорить с тобой о том, о чем ты сам хочешь поговорить. Или, — он поерзал в кресле, раздался деревянный скрип, — можем вообще ни о чем не говорить! Только мне интересно, может, у тебя есть какие-то новости?

— Ну-у... — ответил я после очередной бесконечной паузы, изо всех сил стараясь наклониться на часы, — ну, я просто...

Сколько там еще у нас минут осталось? *Сорок?*

— Потому что другие ответственные за тебя взрослые рассказали мне, что в последнее

время ты заметно воспрянул духом. Ты опять начал работать на уроках, — добавил он, когда я ничего не ответил. — Общаться с людьми. Нормально питаться. — В тишину с улицы вплыло слабое завывание скорой. — Вот я и думаю, может, ты сможешь мне понять, что же изменилось?

Я пожал плечами, поскреб щеку. Ну и как объяснишь такое? И пробовать глупо. Сами воспоминания казались размытыми, лучистыми от нереальности, словно сон, который чем старательнее вспоминаешь, тем быстрее он от тебя ускользает. Куда важнее было само чувство, густой сладостный прилив которого был настолько мощным, что когда я в школьном автобусе, в классе или в кровати старался думать о чем-нибудь приятном, надежном, о каком-нибудь месте или пространстве, где грудь у меня не сжимало тревогой, мне всего и надо было, что рухнуть в этот теплокровный поток, унести в потайное место, где все было как надо. Коричного цвета стены, стук дождя по подоконнику, просторная тишина и ощущение глубины и дали, будто глянцева перспектива на картине девятнадцатого века. Затертые до дыр ковры, разрисованные японские веера и старинные валентинки поблескивают в свете свечи, Пьеро и белые голуби, и сердечки цветочных гирлянд. Бледное лицо Пиппы во тьме.

6.

— Слушай, — сказал я Энди пару дней спустя, когда мы после школы выходили из “Старбакса”, — сможешь меня сегодня прикрыть?

— Конечно, — ответил Энди, жадно хлебая кофе. — Надолго?

— Не знаю. — Все зависело от того, сколько у меня займет пересадка на Четырнадцатой улице, я могу минут сорок пять добираться до Южного Манхэттена, а на автобусе в будний день — и того больше. — Часа на три?

Он скорчил рожу: если мать дома, то его ждут расспросы.

— И что я ей скажу?

— Скажи, что в школе задержали, что-нибудь в таком духе.

— Она решит, что у тебя проблемы.

— Ну и что?

— Ничего, но я не хочу, чтоб она начала звонить в школу и узнавать, что там с тобой.

— Скажи, что я в кино пошел.

— Тогда она спросит, почему я с тобой не пошел. Давай я скажу, что ты в библиотеке.

— Блин, это такая убогая отмазка.

— Ну ладно. Почему бы нам тогда не сказать ей, что у тебя назначена неотложная встреча с твоим инспектором по надзору. Или что ты решил перехватить пару коктейлей в баре при “Фор Сизонс”?

Он передразнивал отца, получилось настолько похоже, что я рассмеялся.

— *Fabelhaft*^[23], — ответил я голосом мистера Барбура. — Очень смешно.

Он пожал плечами.

— Главный корпус открыт сегодня до семи, — сказал он уже своим невыразительным дохлым голосом. — Но я могу и не знать, в каком ты корпусе, если ты сам забыл мне об этом сказать.

Дверь открылась быстрее, чем я ожидал — пока я оглядывал улицу и думал о чем-то своем. На этот раз он был чисто выбрит и от него пахло мылом, длинные седые волосы опрятно зачесаны назад и заложены за уши — одет он был так же внушительно, как и мистер Блэквелл тогда.

Он вскинул брови: явно не ожидал меня увидеть.

— Привет!

— Я не вовремя? — спросил я, разглядывая белоснежные манжеты его рубашки, которые были расшиты крошечными красно-алыми символами, буквицы такие мелкие и затейливые, что их почти и не было видно.

— Вовсе нет. По правде сказать, я надеялся, что ты к нам заглянешь. — На нем был красного цвета галстук с бледно-желтыми фигурками, черные броги-оксфорды и великолепно пошитый темно-синий костюм. — Заходи! Прощу!

— Вы куда-то собирались? — спросил я, застенчиво глядя на него.

Костюм превратил его в совершенно другого человека, пособраннее, не такого рассеянного и меланхоличного, как тот, предыдущий Хоби, в котором было что-то жалкое, что-то от элегантного белого медведя, с которым, однако, плохо обращались.

— Ну да. Но не прямо сейчас. Сказать честно, у нас тут все вверх дном. Ну да неважно.

И как это понимать? Я прошел за ним в дом — сквозь заросли из ножек столов и пружин, торчащих из стульев, через мрачную гостиную на кухню, где терьер Космо, поскуливая, нервно метался из стороны в сторону, щелкал когтями по плиткам. Когда мы вошли, он отступил назад и грозно уставился на меня.

— А почему он здесь? — спросил я, нагнувшись было, чтобы погладить его по голове, и отдернув руку, когда он отпрянул.

— Ммм? — пробормотал Хоби. Казалось, голова у него была занята чем-то другим.

— Ну, Космо. Он ведь с ней сидеть любит.

— А. Это из-за ее тетки. Не хочет, чтоб он там был.

Он наливал чайник водой из-под крана, и я заметил, что чайник подрагивает у него в руках.

— Тетка?

— Ну да, — сказал он, поставил чайник на огонь и нагнулся, чтобы почесать собаку под подбородком. — Ах ты, бедный жабкин, ничегошеньки не понимаешь, правда? Маргарет очень строга насчет собак в спальне у больного ребенка. Она, конечно, права. А теперь вот и ты появился, — он глянул на меня через плечо чудным ярким взглядом. — Снова прибило к нашим берегам. Пиппа с тех пор только о тебе и говорит.

— Правда? — обрадовался я.

— “А где тот мальчик?”, “Ко мне приходил мальчик”. Она мне вчера сказала, что ты еще к нам вернешься, и гляньте-ка, — сказал он с теплым и молодо прозвучавшим смехом, — ты и вернулся.

Он встал, хрустнув коленями, и утер запястьем бугристый белый лоб.

— Если немножко подождешь, то сможешь к ней зайти.

— Как она?

— Гораздо лучше, — бодро сказал он, не глядя на меня. — Столько всего случилось.

Тетка увозит ее в Техас.

— В Техас? — повторил я после остолбенелого молчания.

— Боюсь, что так.

— Когда?

— Послезавтра.

— Нет!

Он скривился, но я и глазом моргнуть не успел, как лицо его снова разгладилось.

— Да, я собираю ее в дорогу, — сказал он веселым голосом, который совсем не вязался с той вспышкой горя, которую я увидел. — Сколько у нас было гостей! Ее школьные друзья — честно сказать, только сейчас полегче стало. Тяжелая выдалась неделька.

— А когда она вернется?

— Ну, если честно, нескоро. Маргарет забирает ее туда жить.

— Насовсем?

— О, нет! Не насовсем, — ответил он таким тоном, что я понял: как раз насовсем. — С планеты-то никто не улетает, — прибавил он, поглядев на мое лицо. — Конечно, я к ней буду ездить. И, конечно, она будет приезжать в гости.

— Но... — Такое чувство, что на меня потолок рухнул. — Я думал, она тут живет. С вами.

— Ну, она и жила. До сих пор. И я уверен, там ей будет гораздо лучше, — неубедительно добавил он. — Большие перемены для нас, конечно, но в сухом остатке, уверен, все выйдет только к лучшему.

Я видел, что он сам не верит в то, что говорит.

— Но почему она тут не может остаться?

— Маргарет — единокровная сестра Велти, — сказал он. — Вторая. И ближайшая родственница Пиппы. Кровная родственница, не то что я. Она думает, что теперь, когда Пиппа достаточно окрепла для переезда, ей будет лучше в Техасе.

— Я бы не хотел жить в Техасе, — растерянно сказал я. — Там же жарко.

— Думаю, и доктора там похуже, — сказал Хоби, отряхнув руки. — Хоть Маргарет со мной и не согласна.

Он уселся и поглядел на меня.

— Какие очки, — сказал он. — Они мне нравятся.

— Спасибо.

Мне про новые очки говорить не хотелось — нежеланная обновка, хоть в них я и вправду лучше видел. Оправу после того, как я провалил проверку зрения в школьном медпункте, выбрала миссис Барбур — у “Э.Б. Мейровица”. Она была круглая, черепаховая, на вид — чуть слишком серьезная и дорогая, и взрослые как-то уж совсем из кожи вон лезли, чтобы заверить меня, что она мне идет.

— Как там дела в вашем районе? — спросил Хоби. — Ты и не представляешь, сколько эмоций вызвал твой визит. Я даже думал — не съездить ли мне к тебе самому. Не поехал только потому, что не хотел оставлять Пиппу, раз она так скоро уезжает. Видишь ли, все случилось очень быстро. Эти все дела с Маргарет. Она похожа на их отца, старого мистера Блэквелла — что-то в голову втемяшит и не успокоится, пока не сделает.

— И он в Техас поедет? Космо?

— Ну нет, уж ему тут лучше. Он в этом доме с трехмесячного возраста.

— А ему не будет грустно?

— Надеюсь, не будет. Ну, если честно, он будет по ней скучать. Мы с Космо неплохо ладим, он так ужасно сдал после смерти Велти. Это вообще собака Велти, к Пиппе он привязался совсем недавно. Такие терьерчики, каких Велти всегда держал, детей не жалуют — мать Космо, Чесси, была сущим кошмаром.

— Но зачем Пиппе уезжать туда?

— Ну, — сказал он, потирая глаза, — это самая логичная вещь. Технически Маргарет ее ближайшая родственница. Хоть при жизни Велти они с Маргарет почти и не общались, по крайней мере в последние годы.

— А почему?

— Ну-у... — видно было, что объяснять ему не хочется. — Тут все сложно. Понимаешь, Маргарет была очень настроена против матери Пиппы.

Едва он договорил, как в кухню вошла высокая, остроносая, решительного вида женщина в возрасте млажавой бабушки — лицо у нее было сварливо-породистое, в ржаво-медных волосах — седина. Ее туфли и костюм могла бы надеть и миссис Барбур, разве что цвет был совсем не ее: ядрено-зеленый.

Она поглядела на меня. Она поглядела на Хоби.

— Это еще что такое? — холодно спросила она.

Хоби с шумом выдохнул, было видно, что он чертовски зол.

— Все в порядке, Маргарет. Это тот мальчик, который был с Велти, когда он умер.

Она оглядела меня сквозь свои очки-половинки и рассмеялась — резким, пронзительным, нервным смехом.

— Ах, ну здравствуй, — сказала она, вся вдруг такая приветливая, протягивая мне свои тонкие красные руки, унизанные бриллиантами. — Я Маргарет Блэквелл Пирс. Сестра Велти. Наполовину, — поправилась она, бросив через плечо взгляд на Хоби, заметив, как у меня сомкнулись брови. — У нас с Велти был общий отец. А моей матерью была Сюзи Делафилд.

Она так это имя произнесла, будто оно должно было мне что-то сказать. Я взглянул на Хоби, чтобы понять, что он-то обо всем этом думает. Она это увидела и строго на него зыркнула, а потом снова устремила все свое внимание — все свое очарование — на меня.

— До чего же ты замечательный мальчик, — сказала она мне. Кончик ее длинного носа внезапно порозовел. — Как же я рада с тобой познакомиться. Джеймс и Пиппа столько мне рассказывали про твой приход — совершенно невероятный случай. Мы только об этом и говорим. И еще, — она цапнула меня за руку, — от всей души хочу тебя поблагодарить за то, что вернул мне дедушкино кольцо. Оно так много для меня значит.

Вернул ей кольцо? Я снова в замешательстве посмотрел на Хоби.

— И для папы оно бы много значило. — У ее дружелюбия был какой-то нарочитый, отрететированный привкус (“обаяние — ведрами”, как выразился бы мистер Барбур), но медный налет сходства с мистером Блэквеллом и Пиппой все равно, помимо моей воли, притягивал меня к ней. — Ты ведь знаешь, что мы его и до этого теряли, правда?

Засвистел чайник.

— Чаю, Маргарет? — спросил Хоби.

— Да, пожалуйста, — бросила она. — С медом и лимоном. И капни самую малость скотча.

Мне же, куда более приветливым голосом, она сказала:

— Ты уж прости, но, боюсь, у нас тут куча взрослых дел. Скоро у нас встреча с юристом.

Вот как только к Пиппе приедет сиделка.

Хоби прокашлялся.

— Не вижу ничего дурного в том...

— А можно я к ней зайду? — спросил я, не дожидаясь, пока он договорит.

— Разумеется, — быстро ответил Хоби, пока не успела вмешаться тетушка Маргарет, и ловко отвернулся, чтоб не видеть ее рассерженного лица. — Дорогу помнишь, да? Туда, по коридору.

8.

Первым, что я от нее услышал, было:

— Выключи, пожалуйста, свет.

Она сидела в кровати, опершись на подушки, в ушах — наушники от айпода, под потолком горела лампочка, и в ее свете она казалась ослепшей, растерянной.

Я выключил свет. Комната заметно опустела, у стен выстроились картонные коробки. По подоконникам постукивал жиденский весенний дождик, за окном в темном двореке белели на фоне мокрых кирпичей пенные лепестки цветущей груши.

— Привет, — сказала она, чуть крепче сжав руки поверх одеяла.

— Привет, — ответил я и расстроился — так зажато это у меня вышло.

— Так и знала, что это ты! Слышала, как вы на кухне разговариваете.

— Правда? А как ты поняла, что это я?

— Я же музыкант! У меня очень острый слух.

Мои глаза наконец привыкли к полумраку, и я заметил, что теперь она казалась покрепче, чем в мой первый приход. Волосы у нее немного отросли, скобы из головы вынули — правда, вспухшие очертания раны все равно были заметны.

— Как себя чувствуешь? — спросил я.

Она улыбнулась.

— Спать хочется.

Дрема звучала в ее голосе, то нежном, то хрипловатом.

— Давай на двоих?

— На двоих — что?

Она повернула голову, вытащила один наушник и протянула его мне.

— Послушай.

Я уселся рядом с ней на кровати и сунул наушник в ухо: бесплотное созвучие — безличное, пронзительное, будто радиосигнал из рая.

Мы поглядели друг на друга.

— Что это? — спросил я.

— Эээ... — она поглядела на экран айпода. — Палестрина.

— А-а.

Но мне было наплевать, что это там за музыка. Я слушал ее только из-за дождливого света, белого дерева за окном, раскатов грома, Пиппы.

Наше с ней молчание было странным и счастливым, соединенное проводком и тончайшим эхом ледяных голосов.

— Не обязательно разговаривать, — сказала она. — Если не хочешь.

Веки у нее были тяжелые, а голос сонный, будто тайна.

— Все обычно хотят поболтать, а я люблю помолчать.

— Ты плакала? — спросил я, приглядевшись к ней.

— Нет. Ну, немножко.

Так мы и сидели, не говоря ни слова — и никакой странности, никакой неловкости.

— Мне придется уехать, — наконец сказала она. — Ты знаешь?

— Знаю. Он рассказал.

— Ужас. Не хочу уезжать.

От нее пахло солью, лекарствами и еще чем-то сладким, травянистым, будто бы ромашковым чаем, который мама покупала в “Грейс”.

— Она вроде ничего, — осторожно сказал я. — Ну, по ходу.

— По ходу, — мрачно повторила она, водя пальцем по краю одеяла. — Она что-то там говорила про бассейн. И про лошадей.

— Звучит прикольно.

Она растерянно заморгала.

— Ну, может.

— А ты умеешь ездить верхом?

— Нет.

— И я не умею. Моя мама зато умела. Она обожала лошадей. Всегда останавливалась поговорить с лошадьми, которые возят коляски на Пятьдесят девятой, — я не знал даже, как сказать-то, — и такое впечатление, что и они как будто с ней разговаривали. Ну, как бы, они в шорах, а все равно поворачивали головы в ее сторону.

— Твоя мама тоже умерла? — робко спросила она.

— Да.

— Моя мама умерла... — она замолчала, задумалась — ...уж не помню когда. Она умерла, когда у нас в школе были весенние каникулы, поэтому я была дома и на каникулах, и еще потом неделю не ходила в школу. А еще мы тогда должны были пойти на экскурсию в Ботанический сад, а я не пошла. Я по ней скучаю.

— От чего она умерла?

— Заболела. Твоя мама тоже болела?

— Нет. Несчастный случай. — Про это мне не хотелось говорить, и я сказал: — В общем, моя мама очень любила лошадей. Когда она была маленькой, у нее была лошадь — она рассказывала, что иногда лошади становилось скучно, и она тогда подходила прямо к дому и совала морду в окно, чтобы поглядеть, что там происходит.

— Как ее звали?

— Палитра.

Я обожал, когда мама принималась рассказывать, какие у них были конюшни в Канзасе: на стропилах мостятся совы и летучие мыши, лошади ржут и сопят. Я знал клички всех лошадей и собак, которые у нее были в детстве.

— Палитра! Так она, что, была вся разноцветная?

— Ну такая, да, пятнистая. Я фотографии видел. Иногда, летом, она и к ней приходила, когда мама спала после обеда. Она слышала, как лошадь дышит, прямо в занавески.

— Как мило! Я люблю лошадей. Просто...

— Что?

— Я тут хочу остаться, — мгновение — и она чуть не плачет. — Не понимаю, зачем

надо уезжать.

— Так скажи им, что хочешь остаться.

Когда это наши руки соприкоснулись? И отчего у нее такие горячие пальцы?

— Я и сказала! Но все думают, что там мне будет лучше.

— Почему?

— Не знаю, — раздраженно ответила она. — Говорят, там потише. Но я не люблю, когда тихо, мне нравится, когда много всяких звуков.

— Меня, наверное, тоже увезут.

Она подтянулась на локте.

— Нет! — встревоженно выпалила она. — Когда?

— Не знаю. Скоро, наверное. Придется жить с дедом и бабушкой.

— А-а, — грустно протянула она, откидываясь обратно на подушки. — А у меня нет бабушки с дедушкой.

Я оплел ее пальцы своими.

— Мои не слишком-то симпатичные.

— Прости.

— Да ничего, — ответил я самым нормальным тоном, на какой был только способен, потому что сердце у меня стучало так, что биение пульса отдавалось аж в кончиках пальцев. Ее рука была бархатной, горячечной и самую малость липкой.

— А других родственников у тебя нет? — В сероватом свете с улицы глаза у нее так потемнели, что казались совсем черными.

— Нет. Ну, то есть... — Отца считать? — Нет.

Наступило долгое молчание. Мы с ней так и были соединены наушниками: один у нее в ухе, второй — у меня. Пение ракушек. Жемчужный хор ангелов. Вдруг все вокруг замедлилось, я будто бы позабыл, как это — размеренно дышать, и то и дело обнаруживал, что надолго задерживаю дыхание, а потом вдруг резко и шумно выдыхаю.

— Как ты говорила, зовут композитора? — спросил я только ради того, чтобы сказать что-то.

Она сонно улыбнулась и потянулась за заостренным, неаппетитного вида леденцом, который лежал на фантике у нее на прикроватном столике.

— Палестрина, — ответила она с торчащей изо рта палочкой. — “Торжественная месса”. Или что-то в этом роде. Они все друг на друга похожи.

— А она тебе нравится? — спросил я. — Твоя тетка?

Пару долгих тактов она глядела на меня. Затем аккуратно положила леденец обратно на обертку и сказала:

— Она вроде ничего. Вроде. Только я ее совсем не знаю. Вот это неклассно.

— А зачем? Зачем тебе уезжать?

— Там в деньгах дело. Хоби ничего не может поделывать, он мне не настоящий дядя. Мой как-будто-дядя, как она его зовет.

— Мне бы хотелось, чтобы он по-настоящему был твоим дядей, — сказал я. — Я хочу, чтоб ты осталась здесь.

Внезапно она села, обвила меня руками и поцеловала; разом вся кровь отхлынула у меня от головы, одной мощной волной — я будто с утеса рухнул.

— Я...

Меня охватил ужас. Обомлев, я потянул руку к губам — вытереть их, только на губах не

было мерзкого чувства сырости, и след от поцелуя затеплел у меня на тыльной стороне ладони.

— Не хочу, чтоб ты уезжала.

— И я не хочу.

— Ты меня видела, помнишь?

— Когда?

— Сразу перед тем как.

— Не помню.

— Я тебя помню, — сказал я. Каким-то образом моя рука пробралась к ее щеке, я неуклюже ее отдернул, прижал к боку, стиснул пальцы в кулак, чуть ли не сел на него. — Я там был.

И тут я понял, что Хоби стоит в дверях.

— Привет, лапушка, — и хоть тепло в его голосе в основном предназначалось ей, я почувствовал, что и мне досталась капелька. — Говорил же, он еще придет.

— Говорил! — сказала она, подтянувшись повыше. — Он пришел.

— Ну, будешь меня в следующий раз слушать?

— Я тебя слушала! Просто не верила.

Кончик тюлевой занавески прощуршал по подоконнику. С улицы доносилось еле слышное гудение машин. Я сидел на краешке ее кровати и чувствовал, будто попал в полосу пробуждения между сном и дневным светом, где все, перед тем как перемениться, мешается и сливается в лавину вязкой эйфории: дождливый свет, сидящая на кровати Пиппа и стоящий в дверях Хоби, и ее поцелуй (с чудным привкусом леденца — он, как я теперь думаю, был с морфином), который так и пристал к моим губам. И все-таки, наверное, не от морфина у меня тогда так кружилась голова, не от него я был весь улыбочиво окутан счастьем и красотой. Как в дурмане, мы с ней распрощались (писать письма она не обещала, похоже, для этого еще недостаточно окрепла), и вот я уже стою в коридоре вместе с сиделкой, и тетка Маргарет говорит громко, озадаченно, и Хоби утешительно кладет руку мне на плечо — сжимает его сильно, ободряюще, будто цепляет якорь, чтобы я понял — все будет хорошо. С самой маминой смерти никто так ко мне не прикасался — по-дружески, чтобы подхватить меня, когда растеряюсь, и я, будто бездомный пес, изголодавшийся по любви, вдруг ощутил, как из глубины, из самой моей крови, рванулась верность, внезапное, унижительное, защищавшее глаза убеждение, что *это хорошее место, это хороший человек, я могу ему довериться, тут меня никто не тронет.*

— Ох, — вскричала тетка Маргарет, — ты плачешь? Только посмотрите! — обратилась она к молодой сиделке (та кивала, улыбалась, чуть ли не ела у нее из рук и старалась угодить). — До чего милый мальчик! Ты ведь будешь очень по ней скучать, правда? — Улыбалась она во весь рот, уверенная в себе, в собственном праве. — Обязательно, обязательно приезжай к нам в гости. Я просто обожаю принимать гостей. У моих родителей... был один из самых больших в Техасе тюдоровских домов...

И она пошла трещать дальше, приветливая, как попугай. Но я уже присягнул на верность другим. И вкус поцелуя Пиппы — горьковато-сладкий, странный — так и оставался со мной до самого дома, пока я, сонно покачиваясь, плыл обратно в автобусе, тая от печали и прелести, от лучистой боли, что приподнимала меня над сквозняковым городом, словно воздушный змей: голова в тучах, сердце в небесах.

Я вынести не мог, что она уезжает. И думать было тошно. В день ее отъезда я проснулся несчастным и разбитым. Я глядел на небо над Парк-авеню — иссиня-черное, грозное, вздущееся небо, будто сошедшее с картин, изображавших Голгофу, и представлял, что и она глядит в это же темное небо из окна самолета; и пока мы с Энди шагали к автобусной остановке, опущенные взгляды и хмурые лица прохожих, казалось, отражали и увеличивали мою тоску из-за ее отъезда.

— Да, в Техасе скукота, это точно, — сказал Энди, то и дело чихая. Из-за пыльцы глаза у него были красные и слезящиеся, и потому он сильнее, чем обычно, напоминал лабораторную белую мышку.

— Ты там был?

— Да, в Далласе. Одно время тетя Тесс и дядя Гарри жили там. Делать там вообще нечего, только в кино ходить, и пешком никуда не дойдешь, обязательно надо на машине ехать. И еще у них там гремучие змеи и смертная казнь, что, на мой взгляд, мера примитивная и неэтичная в девяноста восьми процентах случаев. Но, может, ей там будет лучше.

— Почему?

— Да в основном из-за климата, — сказал Энди, вытирая нос отглаженным хлопчатобумажным платком, который он каждое утро выдергивал из стопки таких же, лежавших у него в комод. — В теплом климате больные лучше идут на поправку. Поэтому дедушка Ван дер Плейн переехал в Палм-Бич.

Я молчал. Я знал, что Энди меня не выдаст, я доверял ему, ценил его мнение, и все же, пока мы с ним разговаривали, у меня то и дело появлялось чувство, что я говорю с компьютерной программой, которая симулирует человеческое общение.

— Если она будет жить в Далласе, пусть обязательно сходит в Музей природы и науки. Хотя, наверное, ей он покажется слишком уж маленьким и несовременным. В тамошнем “Аймаксе” даже 3-D нет. А еще они берут дополнительную плату за проход в планетарий, и это просто нелепо, потому что их планетарий ничто по сравнению с хайденовским.

— Хмммм.

Иногда я спрашивал себя: а может ли хоть что-то вышибить Энди из его ботанско-математической башни? Цунами, например? Вторжение десептиконов? Годзилла на Пятой авеню? Он был как планета без атмосферного слоя.

Бывает ли одиночество сильнее того, которым мучился тогда я? У Барбуров, посреди шума и гама не моей семьи, я чувствовал себя еще более одиноким, чем прежде — еще и из-за того, что близился конец школьного года, и я не совсем понимал (и Энди, кстати, тоже), возьмут ли они меня с собой в свой летний дом в Мэне. Миссис Барбур с присущей ей деликатностью ухитрялась обходить эту тему, даже когда по всему дому стали появляться картонные коробки и раскрытые чемоданы; мистер Барбур и младшие дети были в восторге, но Энди взирал на все с неприкрытым ужасом.

— Солнце, воздух и вода, — презрительно сказал он, поправляя очки (такие же, как у меня, только стекла заметно толще). — По крайней мере ты у бабки с дедом будешь на суше. С горячей водой. И выходом в интернет.

— Жалости не дождешься.

— Ладно, если все-таки поедешь с нами, посмотрим, как ты запоешь. Это как в “Похищенном”. В той части, когда его на корабле в рабство продают.

— А как насчет той части, когда ему нужно переться в какую-то глушь, к этому мерзкому родственничку, которого он в глаза раньше не видел?

— Да, об этом я тоже подумал, — серьезно сказал Энди, развернув свой стул от письменного стола, чтобы посмотреть на меня. — Хотя они, по крайней мере, не замышляют тебя убить — наследство-то не поставлено на карту.

— Наследства нет, это точно.

— Знаешь, что я могу тебе посоветовать?

— Нет, что?

— Мой тебе совет, — сказал Энди, почесывая нос ластиком на кончике карандаша, — как только попадешь в эту свою новую школу в Мэриленде, учись изо всех сил. У тебя есть преимущество — ты на год впереди всех. А это означает, что школу ты окончишь в семнадцать. Подавай на стипендию, и уже через четыре, а может, и три года, тебя уж там и не будет — отправишься, куда захочешь.

— Оценки у меня не блестящие.

— Верно, — серьезно сказал Энди, — но только потому, что ты не трудишься. И думаю, можно с успехом предположить, что в новой школе многого от тебя не потребуется.

— Уж я надеюсь.

— Ну, послушай, это общественная школа, — сказал Энди. — В Мэриленде. Без наезда на Мэриленд. Ну, то есть у них там есть Лаборатория прикладной физики и Научный институт космического телескопа при университете Джонса Хопкинса, и это не говоря уже о Центре космических полетов Годдарда в Гринбелте. Короче, у этого штата отличные связи с НАСА. В конце начальной школы тогда на тестировании ты сколько набрал?

— Не помню.

— Ладно, не хочешь говорить — не говори. Я к чему это все, к тому, что если закончишь с хорошими оценками в семнадцать, а может, и в шестнадцать, если поднапряжешься, то потом сможешь уехать в какой хочешь колледж.

— Три года — это долго.

— Для нас долго. Но в общей картине — вовсе нет. Ну, то есть, — рассудительно завел Энди, — взять хоть какую-нибудь тупую зайку вроде Сабины Ингерсолл или этого придурка Джеймса Вилльерса. Да хоть сраного Форреста Лонгстрита.

— Они все не бедные. Я отца Вилльерса вон видел на обложке “Экономиста”.

— Не бедные, но тупые, как диванные валики. Погляди только, Сабина такая дура, что непонятно, как она и ходить-то научилась. Не будь она из богатой семьи и если б пришлось самой крутиться, она бы, ну, наверное, проституткой стала. А Лонгстрит — да он просто забился бы в угол и сдох там от голода. Как хомячок, которого забыли покормить.

— Ты меня в тоску вгоняешь.

— Я говорю только, что ты умный. И взрослые тебя любят.

— Чего? — с сомнением переспросил я.

— Правда, — ответил Энди своим невыносимым тусклым голосом. — Ты запоминаешь

все имена, глядишь в глаза, типа, как надо, когда надо — жмешь руки. В школе все ради тебя наизнанку выворачиваются.

— Да, но... — Мне не хотелось говорить, что это все только потому, что у меня мать умерла.

— Не тупи. Тебе и убийство с рук сойдет. У тебя мозгов хватает, мог бы и сам до всего прийти.

— Что ж ты тогда никак в парусный спорт не врубишься?

— Да врубаюсь я, — мрачно сказал Энди, снова раскрывая свои прописи по хирагане. — Я еще как врубаюсь, что в худшем случае меня ждут четыре адовых лета. Три, если папа разрешит поступить в колледж в шестнадцать. Два, если перед выпускным классом стисну зубы и запишусь в “Горную школу” на летнюю программу по органическому земледелию. И после этого ноги моей не будет на палубе.

11.

— Тяжело с ней говорить по телефону, увы, — сказал Хоби. — Этого я не ожидал. Как-то с ней все совсем нехорошо.

— Нехорошо? — переспросил я.

И недели не прошло, а я, хоть и вовсе не собирался возвращаться к Хоби, каким-то образом снова очутился у него: сидел за кухонным столом и ел его второе угощение, которое на первый взгляд было похоже на черный ком земли из цветочного горшка, но на деле было восхитительной массой из имбиря и инжира со взбитыми сливками, которая была посыпана мельчайшей горьковатой стружкой апельсиновой цедры.

Хоби потер глаза. Когда я приехал, он чинил в подвале стул.

— Ужасно злит, конечно, — сказал он. Волосы у него были убраны с лица, очки свисали с шеи на цепочке. Он снял и повесил на крючок черный рабочий халат и остался в поношенных, перепачканных растворителем и воском вельветовых штанах и застиранной хлопковой рубаше с завернутыми до локтей рукавами. — Маргарет сказала, что она проплакала три часа кряду, после того как в воскресенье вечером поговорила со мной по телефону.

— Ну так почему бы ей не вернуться?

— Вот честно, если б я только знал, как все поправить, — сказал Хоби. Он сидел за столом, угрюмый, деловитый, распластав по столешнице белые узловатые ладони — было что-то этакое в рисунке его плеч, что наводило на мысли о добродушном коняге-тяжеловозе или, может, рабочем, который завернул в паб после долгой смены. — Я думал, может, слетать туда к ней, навестить, но Маргарет говорит — не надо. Она, мол, тогда вовсе там не обвыкнется, если я буду рядом торчать.

— А по-моему, вам все равно надо поехать.

Хоби приподнял брови.

— Маргарет наняла какого-то психотерапевта — похоже, какую-то знаменитость, который использует лошадей при лечении таких вот травмированных детей. Ну да, Пиппа любит животных, но даже если б она была совершенно здорова, то вряд ли бы хотела целыми днями торчать на улице и кататься на лошадях. Она всю свою жизнь провела на уроках музыки и в музыкальных залах. Маргарет так и перевозносит музыкальную программу в их

церкви, но вряд ли Пиппу заинтересует любительский детский хор.

Я отодвинул в сторону стеклянную тарелку (выскреб все дочиста).

— А почему Пиппа ее до сих пор не знала? — осторожно спросил я, а потом, когда он ничего не ответил, прибавил: — Это все из-за денег?

— Не то чтобы. Хотя да. Ты прав. В каком-то смысле дело и было в деньгах. Видишь ли, — сказал он, склонившись ближе — руки на столе, большие, выразительные, — у отца Велти было трое детей. Велти, Маргарет и мать Пиппы, Джульетта. И все от разных матерей.

— Ага.

— Велти — старший. Казалось бы — старший сын, все дела, верно? Но он лет в шесть подхватил туберкулез позвоночника — родители были в Асуане, а нянька не поняла, насколько все серьезно, и его слишком поздно отвезли в больницу, мальчик он был, насколько я понимаю, умный и симпатичный, но старый мистер Блэквелл был не из тех, кто снисходительно относится к слабым и увечным. Отослал его к родне в Америку и думать о нем забыл.

— Ужас какой! — Такая несправедливость меня поразила.

— Да. Ну, то есть Маргарет тебе, конечно, другую картинку нарисует, но отец Велти человек был тяжелый. В любом случае, после того как Блэквеллов выслали из Каира — хоть, “выслали”, наверное, не самое подходящее слово. Когда Насер пришел к власти, всем иностранцам было велено покинуть Египет — отец Велти был в нефтяном бизнесе, и, к счастью, у него были и деньги, и собственность за границей. Иностранцам запретили вывозить деньги и ценности из страны.

— Ну, как бы там ни было... — Он вытащил очередную сигарету. — Так, что-то я отвлекся. Дело в том, что Велти почти и не знал Маргарет, которая была его добрых лет на двенадцать моложе. Мать Маргарет была богатой наследницей, родом из Техаса, у нее своих денег была куча. Это был последний брак старого Блэквелла и самый долгий из всех — послушать Маргарет, так роман века. Известная супружеская чета из Хьюстона: выпивка рекой да частные самолеты, сафари в Африке — отец Велти обожал Африку, даже после того, как ему пришлось уехать из Каира, то и дело туда ездил.

— Как бы там ни было, — вспыхнула спичка, он кашлянул и выпустил облако дыма, — Маргарет была папиной принцессой, зеницей ока, все такое. Но он все равно, на протяжении всего брака, не проходил мимо гардеробщиц, официанток, дочек друзей — и в какой-то момент, когда ему было за шестьдесят, сделал ребенка своей парикмахерше. И этим ребенком была мать Пиппы.

Я промолчал. Когда я учился во втором классе, был знатный скандал (по дням расписанный на страницах светской хроники “Нью-Йорк Пост”), когда у отца одного из моих одноклассников обнаружился ребенок — не от матери Эли, это привело к тому, что почти все матери в классе встали на ту или иную сторону и, пока ждали нас вечерами возле школы, друг с другом не разговаривали.

— Маргарет была в колледже, в Вассаре, — отрывисто продолжил Хоби. Хоть он и говорил со мной как со взрослым (и мне это нравилось), тема разговора явно не доставляла ему удовольствия. — По-моему, она после этого с отцом пару лет не разговаривала. Старик Блэквелл пытался откупиться от парикмахерши, но скупость взяла верх, ну, она всегда брала верх, когда дело касалось родни. И потому-то Маргарет — Маргарет с Джульеттой, матерью Пиппы, и не встречались ни разу, разве что в зале суда, когда Джульетта была еще младенцем. Отец Велти в результате так возненавидел парикмахершу, что в завещании

прямым текстом прописал, что ей с Джульеттой ни цента от него не достанется, кроме каких-то жалких крох, по закону положенных на содержание ребенка. Но вот Велти... — Хоби затушил сигарету. — Старый мистер Блэквелл насчет Велти слегка оттаял и в завещании его не обделил. И пока тянулась вся эта юридическая чехарда с завещанием — много-много лет, Велти все сильнее и сильнее переживал за задвинутого в сторону и брошенного ребенка. Матери Джульетта была не нужна, родне матери она не нужна была тоже, и уж точно не нужна она была старику Блэквеллу, да, по правде сказать, и Маргарет, и ее мать только бы обрадовались, если б она очутилась на улице. Ну и парикмахерша опять же уходила на работу, оставляла девочку одну в квартире — куда ни кинь, везде плохо.

— Велти был совсем не обязан вмешиваться, но человек он был чувствительный, одинокий и детей любил. Когда Джульетте — Джули-Энн, как ее тогда звали — было шесть лет, он пригласил ее сюда погостить.

— Сюда? В этот дом?

— Да, сюда. Но потом лето прошло, пришло время отправлять ее домой, она рыдала, не хотела уезжать, мать не брала трубку, и он сдал билеты на самолет и стал обзванивать окрестные школы, чтоб записать ее в первый класс. Официально они это никак не оформляли — Велти, как говорится, боялся раскачивать лодку, но почти все обычно сразу думали, что это его ребенок и в подробности не вдавались. Ему было уже за тридцать, в отцы он ей спокойно годился. Да он и был ей отцом — почти во всех отношениях.

— Ну да ладно, — сказал он другим тоном, подняв на меня глаза. — Ты говорил, что хочешь заглянуть в мастерскую. Ну что, пойдём?

— Да, пожалуйста, — сказал я. — Я с удовольствием.

Он там трудился над перевернутым стулом и, когда я пришел, встал, потянулся и сказал, что не прочь сделать перерывчик, но мне совсем не хотелось идти наверх, ведь в мастерской было так волшебное, так интересное — то была настоящая пещера с сокровищами, куда просторнее внутри, чем казалась снаружи, свет туда сочился сквозь высокие окна — ажурный, узорчатый, повсюду лежали загадочные инструменты, названий которых я не знал, и заманчиво, остро пахло лаком и пчелиным воском. Даже стул, который он чинил — спереди у него были козлиные ножки с копытами — казался не столько предметом мебели, сколько зачарованным существом, будто вот-вот перевернется, спрыгнет с его верстака и зацокает по улице.

Хоби снял с крючка рабочий халат, надел его. Несмотря на всю его мягкость и несуетливость, сложен он был так, будто зарабатывал на жизнь тем, что ворочал холодильники или разгружал вагоны.

— Итак, — сказал он, ведя меня вниз по лестнице, — “Магазин-в-магазине”.

— То есть?

Он рассмеялся.

— *Arrière-boutique*^[24]. То, что видят покупатели, — это сцена, лицевая сторона, но вся важная работа делается тут, внизу.

— Понятно, — сказал я, глядя вниз, на лабиринт у подножья лестницы: светлое дерево будто мед, темное — как застывшая патока, в слабом свете — всполохи латуни, серебра, позолоты. Как и возле Ноева ковчега, все предметы мебели составлены рядом с себе подобными: стулья со стульями, кушетки с кушетками, часы с часами, а напротив тянутся строгие ряды бюро, столов, комодов. Обеденные столы в центре расчертили пространство на узкие, лабиринтообразные дорожки, по которым надо было протискиваться боком. В

дальнем конце комнаты плотной стеной — рама к раме — висели старые потемневшие зеркала, теплясь серебристым отсветом старинных бальных залов и собраний при свечах.

Хоби оглянулся на меня. Заметил, до чего я рад.

— Любишь старые вещи?

Я кивнул — да, правда, я люблю старые вещи, хотя раньше об этом даже не догадывался.

— Тогда у Барбуров для тебя много интересного найдется. Подозреваю, что их чиппендейл или “королева Анна” не хуже того, что в музеях выставляют.

— Ну да, — нерешительно ответил я. — Но здесь все по-другому. Приятнее, — уточнил я, если он вдруг не понял.

— Это как?

— Ну, то есть, — я крепко зажмурился, пытаюсь собраться с мыслями, — тут, тут здорово, столько много стульев — одни, другие... понимаете, будто разные характеры видишь. Ну вот, вот этот, — я не знал подходящего слова, — ну, он почти дурацкий, но в хорошем смысле слова, такой свойский. А вот тот — скорее нервный, тот, с длинными вытянутыми ножками...

— Смотри-ка, а на мебель у тебя глаз наметан.

— Ну-у... — От комплиментов я терялся, никогда не знал, как надо на них реагировать, только и мог притворяться, что ничего не слышал. — Когда они вот так выстроены вместе, сразу видно, как они сделаны. А у Барбуров, — я толком и не мог объяснить — не знаю, все больше напоминает инсталляции с чучелами животных, как в Музее естественной истории.

Он расхохотался, и его мрачность и тревога тотчас же улетучились, все добродушие сразу почувствовалось, проступило.

— Нет, ну правда, — я упорно гнул свою мысль, — она все так устроила — все столы отдельно, все подсвечены, все расставлено так, что руками, мол, не трогать, — как диорамы, которые они там ставят вокруг какого-нибудь яка, чтобы показать его среду обитания. Симпатично, да, но... — я указал на спинки выстроившихся вдоль стены стульев. — Вот это лира, а вон тот — как ложка, а этот вот... — Я очертил дугу в воздухе.

— Спинка-щит. Хотя вот у этого стула самая примечательная деталь — ажурный средник. Ты сам-то этого пока не понимаешь, — продолжил он, не дав мне спросить, а что такое “средник”, — но только видеть всю эту ее мебель каждый день — уже само по себе познавательно: разглядывать ее при разном освещении, когда хочешь — проводить рукой. — Он подышал на стекла очков, протер их кончиком фартука. — Тебе как, домой скоро?

— Да нет, — ответил я, хотя времени было уже много.

— Ну, тогда пойдем, — сказал он, — пристроим тебя к делу. От помощи с тем стульчиком не откажусь.

— С козлоногим?

— С козлоногим. Вон там на крючке висит еще фартук. Знаю, тебе великоват будет, но я только что этот стул покрыл олифой, еще одежду перепачкаешь.

Психо-Дейв то и дело заводил разговор о том, как было бы здорово, если б я завел себе хобби — эти его советы меня бесили, потому что его представления о хобби (ракетбол, настольный теннис, боулинг) были невероятно убогими. Если он думал, что партия-другая в

настольный теннис поможет мне забыть про маму, то кукушечку у него сорвало напрочь. Но, судя по блокноту, который мне подарил мой учитель английского мистер Нойшпиль, советам миссис Свонсон походить после уроков на занятия по живописи, предложениям Энрике как-нибудь сводить меня на баскетбол на Шестой авеню и даже по периодическим попыткам мистера Барбура заинтересовать меня навигационными картами и сигнальными флагами, куча взрослых думала так же, как он.

— Но что же ты тогда любишь делать в свободное время? — допрашивала меня миссис Свонсон в своем жутковатом белесо-сером офисе, где пахло травяными чаями и полынью, на столике для чтения громоздились стопки “Севентин” и “Тин Пипл”, и фоном плыла, потренькивая, какая-то серебристая азиатская музыка.

— Ну, не знаю. Читать люблю. Кино смотреть. Играть в “Эпоху завоеваний 2” или в “Эпоху завоеваний: Платиновое издание”. Не знаю, — повторил я, потому что она все глядела на меня.

— Это, конечно, все прекрасно, Тео, — сказала она с озабоченным видом. — Но было бы здорово, если б тебе удалось влиться в коллектив. Работать в команде, делать что-то вместе с другими ребятами. А спортом тебе не хочется позаниматься?

— Нет.

— Я занимаюсь боевым искусством, которое называется айкидо. Может, слышал о таком? Там учат защищать себя, используя движения противника.

Я отвернулся и уставился на висевшую у нее над головой выцветшую панельку с изображением Девы Марии Гваделупской.

— А как насчет фотографии? — она сложила унизанные бирюзой руки на столе. — Если уж живопись тебя не прельщает. Хотя, хочу заметить, что миссис Шайнкопф показывала мне кой-какие твои прошлогодние рисунки, помнишь, была у тебя серия с крышами, водонапорными башнями — виды из окна студии? У тебя глаз острый, я этот вид хорошо знаю, а ты смог ухватить по-настоящему интересные линии, передать энергию — “динамичные”, кажется, так она сказала про твои рисунки, такая в них приятная стремительность, пересекающиеся плоскости, углы пожарных лестниц. В общем, что я хочу сказать — не так уж важно, чем ты будешь заниматься, просто так хочется как-то тебя раскрыть.

— Раскрыть — как? — это у меня вышло уж как-то слишком злобно.

Она и глазом не моргнула.

— Раскрыть для общения! И, — она указала на окно, — для окружающего мира! Послушай, — добавила она нежнейшим, гипнотически-успокоительным голосом, — я понимаю, что вы с мамой были очень привязаны друг к другу. Я с ней говорила. Я видела вас вместе. И я знаю, как сильно ты по ней скучаешь.

Нет уж, не знаешь, думал я, дерзко уставившись прямо ей в глаза.

Она как-то странно на меня посмотрела.

— Ты и сам удивишься, Тео, — сказала она, откинувшись на спинку своего завешанного шальями кресла, — тому, как незначительные, будничные вещи могут вытащить нас из глубин отчаяния. Но за тебя этого никто не сделает. Ты сам должен отыскать незапертую дверь.

Я знал, что она хотела как лучше, но вышел из ее кабинета с опущенной головой и жгучими слезами ярости на глазах. Да что она в этом понимает, крыса старая?! У миссис Свонсон огромная семья, если верить фоткам на стенах — штук десять детей и внуков штук тридцать, у миссис Свонсон огромная квартира на западной стороне Центрального парка,

дом в Коннектикуте и ноль понятий о том, какво это, когда — шелк! — и в минуту все сломано, все исчезло. Легко ей посиживать в своем хипповском кресле и разглагольствовать про внеклассные занятия и незапертые двери.

Но неожиданно дверь и впрямь открылась — там, где я того и не ждал: в мастерской Хоби. “Помощь” со стулом, которая, по существу, заключалась в том, что я стоял возле Хоби, пока он обдирал ткань с сиденья, чтобы показать мне, как глубоко дерево изъедено червями, как неумело стул чинили и прочие ужасы, прятавшиеся под обивкой, быстро переросла в дватри на удивление захватывающих вечера в неделю после школы: я наклеивал этикетки на пузырьки, мешал кроликовый клей, рассортировывал по коробкам крепеж для выдвижных ящичков (“мелочь пузатую”), а иногда просто наблюдал, как он обтачивает ножки стульев на токарном станке. Магазин наверху по-прежнему был закрыт, металлические ставни опущены, а здесь, в магазине-под-магазином, тикали напольные часы, румянилось красное дерево, свет собирался в золотые лужицы на обеденных столах — в кунсткамере под лестницей жизнь шла своим чередом.

Ему звонили из аукционных домов со всего города — и еще частные клиенты, он реставрировал мебель для “Сотбис”, “Кристис”, “Галерей Теппера”, “Дойла”.

После уроков, под дремотное тиканье напольных часов он показывал мне, как разные породы дерева отличаются блеском, пористостью и цветом — глянцевитую рябь тигрового клена и пузыристое зерно каштана с наплывами, какой разный у них вес и какой разный запах — “иногда, если до конца не уверен, что это у тебя такое, проще всего понюхать”, — как дуб отдает пылью, а красное дерево — пряностями, как бьет в нос запах черемухи и какой цветочный, янтарно-смоляной аромат исходит от палисандра. Пилы и перьевые сверла, рашилы и напильники, полукруглые стамески и стамески-клюкарзы, скобы и усорезы. Я узнавал все о глянце и позолоте, о том, что такое шип, а что — гнездо, учился отличать патинированный псевдоэбен от настоящего эбенового дерева, гребни-навершия ньюпортовских стульев от наверший “коннектикута” и “филадельфии” и понимать, почему один чиппендейловский комод из-за своей срезанной верхушки и массивности ценится ниже комода на ножках-скобках одного с ним года — с каннелированными боковыми пилястрами и выдвижными ящиками “истерических”, как выражался Хоби, пропорций.

Из-за тусклого света и опилок на полу иногда казалось, что тут — будто на конюшне — стоят себе покорно в полумраке высоченные животные. Хоби помог мне разглядеть одушевленность в хорошей мебели: тем, что о разных предметах он отзывался как о “нем” или о “ней”, тем, как по-настоящему редкие образцы отличались от своих нескладных, угловатых и вычурных собратьев почти животной мускулистостью, и тем, как ласково он проводил рукой по темным, блестящим бокам буфетов и комодиков, будто животных гладил. Учителем он был хорошим, и очень скоро пошагово объяснив мне, как правильно осматривать мебель и как ее сравнивать, он научил меня отличать копию от подлинника: по слишком ровно стершемуся покрытию (антикварная мебель всегда изнашивалась несимметрично, по краям, которые были обточены на станке, а не оструганы вручную рубанком, машинную обточку можно было нащупать натренированными пальцами даже при слабом свете), но в основном по плоской мертвечине дерева, которому недоставало определенного сияния — волшебства, которое рождалось после того, как дерева веками касались руки. Стоило только мне подумать о судьбах этих почтенных старинных комодов и секретеров, о судьбах куда более долгих и тихих, чем человеческие, и я проваливался в покой, будто камень в глубокие воды, да так, что, когда пора было уходить, я, ошеломленно

моргая, выходил в грохот Шестой и с трудом вспоминал, где нахожусь.

Но больше, чем работой в мастерской (или в “госпитале”, как называл ее Хоби), я наслаждался самим Хоби: его усталой улыбкой и элегантной сутулостью гиганта, закатанными рукавами и непринужденной шутиливой манерой общения, его привычкой утирать лоб внутренней стороной запястья, как делают рабочие, его терпеливым добродушным нравом и ровным здравомыслием. Но хоть говорили мы редко и о пустяках, простыми наши разговоры назвать было никак нельзя. Даже у легкого “как дела?” незаметно появлялся тонкий подтекст, и мое неизменное “хорошо” он мог сам раскусить без труда, ни о чем меня не спрашивая. И хотя он редко меня о чем-либо расспрашивал, я чувствовал, что он понимает меня куда лучше всех тех взрослых, чья работа как раз заключалась в том, чтоб “залезть мне в голову”, как любил выражаться Энрике.

Но больше всего он мне нравился потому, что обращался со мной на равных — как с компаньоном и собеседником. И неважно, что иногда Хоби хотелось поговорить о том, что соседке поставили коленный протез, или о концерте старинной музыки, где он недавно побывал. Когда я рассказывал ему какую-нибудь смешную историю из школьной жизни, он был внимательным и благодарным слушателем; в отличие от миссис Свонсон, которая пугалась и отмораживалась, стоило мне пошутить, или Дейва, который хоть и похихикивал в ответ, но как-то неловко и вечно запаздывая, Хоби любил смеяться, и я обожал, когда он принимался рассказывать мне истории из своей жизни: про детство с пронырливыми монахинями и шумными дядюшками, до последнего ходившими в холостяках, про второсортную школу-пансион у канадской границы, где все учителя были алкоголиками, про огромный дом на севере штата, который его отец так выстудил, что окна покрылись льдом изнутри, про то, как серыми декабрьскими вечерами он читал Тацита или “Возвышение Голландской республики” Мотли. (“Я всегда, всегда любил историю. Невыбранный путь! Верхом мечтаний в детстве было стать профессором истории в Нотр-Дам. Хотя, наверное, нынешняя моя работа — это тоже своего рода способ заниматься историей”.) Он рассказывал, как спас из магазина “Вулворт” одноглазую канарейку и все детство она каждое утро будила его своим пением, как однажды приступ ревматической лихорадки уложил его в постель аж на полгода, как он сбегал из дома в чудную старинную библиотечку по соседству, где потолки были расписаны фресками (“снесли уж теперь, увь”). Как после уроков он ходил домой к старой миссис де Пейстер, одинокой аристократке — бывшая “Королева Олбани” — и местный историк квохгала над Хоби, кормила его рождественским кексом “данди” — его ей присылали из Англии в жестянках, могла часами рассказывать Хоби про каждый предмет, стоявший в ее горке с фарфором, и у которой, помимо всего прочего, была софа красного дерева, по слухам принадлежавшая генералу Херкимеру — с этой-то софы и началась любовь Хоби к старинной мебели. (“Хотя, право, никак не могу представить себе генерала Херкимера, который возлежит на этой древней декадентской грекообразной шпуковине”.) Он рассказывал про свою мать, которая умерла вслед за его сестрой, трех дней от роду, оставив Хоби единственным ребенком, и про молодого священника-иезуита, футбольного тренера, которому как-то раз позвонила перепуганная горничная-ирландка, увидев, как отец Хоби лупит его ремнем “практически до синевы”, а тот примчался к ним домой, засучил рукава да и врезал отцу Хоби так, что тот рухнул наземь. (“Отец Киган! Только он ко мне и приходил, когда я лежал тогда с ревматической лихорадкой, причащал меня. Я у него служкой был, он все знал, видел рубцы у меня на спине. В последнее время только и слышишь про священников, которые дурно ведут себя с мальчиками, но он был

очень ко мне добр — вот бы узнать, что с ним случилось. Я его пытался разыскать, но не смог. Отец позвонил архиепископу, и я глазом моргнуть не успел, как его спровадили в Уругвай”.)

Все тут было совсем по-другому, не как у Барбуров, где хоть в целом все были ко мне очень добры, но я вечно то терялся в толчее, то становился мишенью для неловких церемонных расспросов. Я чувствовал себя лучше, зная, что до него можно доехать на автобусе, по Пятой, никуда не сворачивая, и когда я просыпался по ночам — дрожа, в панике, тело снова и снова сводит взрывом, то убаюкивал себя мыслями о его доме, где, почти сам того не понимая, я мог иногда ускользнуть напрямик в 1850-е, в мир, где тикают часы и скрипят половицы, где на кухне стоят медные кастрюли и корзины с брюквой и луком, где пламя свечи клонит влево от сквозняка из приоткрытой двери, а занавеси на высоких окнах в гостиной трепещут и развеваются, будто подола бальных платьев, в мир прохладных тихих комнат, где спят старые вещи.

Правда, объяснять мои отлучки становилось все труднее (особенно мое отсутствие за ужином), и изобретательность Энди начала иссякать.

— Мне с тобой съездить, поговорить с ней? — спросил Хоби как-то вечером, когда мы с ним ели на кухне вишневый пирог, который он купил на фермерском рынке. — Я буду рад с ней встретиться. Или, хочешь, пригласи ее сюда.

— Можно, — ответил я, подумав.

— Ей, думаю, интересно будет взглянуть на тот чиппендейловский двойной комод — ну тот, филадельфийский, с резной короной. Не покупать, конечно, просто посмотреть. Или, если хочешь, пригласим ее на ланч в “Ла Гренуй”, — он рассмеялся, — или в какой-нибудь местный ресторанчик, который может прийтись ей по вкусу.

— Я подумаю, — пообещал я и уехал пораньше, в угрюмых раздумьях. Помимо затяжного вранья миссис Барбур — про сидение допоздна в библиотеке и несуществующий проект по истории — неловко будет признаваться Хоби, что я выдал кольцо мистера Блэквелла за семейную реликвию.

Но если миссис Барбур и Хоби встретятся, то моя ложь так или иначе выплывет наружу. Скрыть это, похоже, никак не удастся.

— Где ты был? — резко спросила миссис Барбур, выйдя откуда-то из дальней комнаты в вечернем платье, но без туфель, в руке — бокал джина с лаймом.

Так она это сказала, что я учуял подвох.

— Вообще-то, — ответил я, — я был в Южном Манхэттене, навещал маминого друга.

Энди обернулся и вытаращился на меня.

— Вот как? — подозрительно переспросила миссис Барбур, покосившись на Энди. — А Энди мне рассказывал, что ты опять трудишься в библиотеке.

— Сегодня — нет, — сказал я так легко, что сам удивился.

— Что ж, у меня гора с плеч, — холодно сказала миссис Барбур, — а то по понедельникам главный корпус закрыт.

— Мам, я не говорил, что он в главном корпусе.

— Кстати, вы даже, может, его знаете, — продолжил я, чтобы поскорее перевести огонь на себя. — Ну, или слышали о нем.

— О ком? — спросила миссис Барбур, снова переводя взгляд на меня.

— Знакомого, к которому я ездил. Его зовут Джеймс Хобарт. У него магазин антикварной мебели в Южном Манхэттене, ну, то есть не совсем у него. Он там реставратором.

Она свела брови:

— Хобарт?

— Он много с кем тут работает. Иногда, например, с “Сотбис”.

— То есть ты не будешь против, если я ему позвоню?

— Не буду, — с вызовом сказал я. — Он сам предлагал нам всем вместе пообедать. Или, если хотите, можете заглянуть к нему в магазин.

— О, — произнесла миссис Барбур, удивленно помолчав секунду-другую. Теперь ее застали врасплох. Если даже миссис Барбур хоть когда-нибудь и выбиралась южнее Четырнадцатой улицы, я ни о чем таком не слышал. — Ну ладно. Посмотрим.

— Не покупать, конечно. Просто посмотреть. У него там есть симпатичные штуки.

Она моргнула.

— Да, конечно, — сказала она. Миссис Барбур казалась до странного сбитой с толку, взгляд у нее был какой-то растерянный, застывший. — Да, как славно. Конечно, я буду рада с ним познакомиться. Может, мы знакомы?

— Нет, вряд ли.

— Ну, все равно. Прости, Энди. Я должна перед тобой извиниться. И перед тобой, Тео.

Передо мной? Я не знал, что и сказать. Энди, украдкой посасывая кончик большого пальца, только плечом дернул, когда она унеслась из комнаты.

— Что случилось? — тихонько спросил я.

— Она расстроена. Ты тут вообще ни при чем. Платт вернулся, — прибавил он.

Только теперь я обратил внимание на приглушенную музыку, несущуюся из дальнего конца квартиры — тяжелый, нутряной гул.

— А почему? — спросил я. — Что такое?

— В школе что-то случилось.

— Плохое что-то?

— А бог знает, — безучастно ответил он.

— Так у него проблемы?

— Похоже на то. Но все молчат.

— Но что случилось-то?

Энди скривился: *да черт его знает.*

— Когда мы пришли из школы, он уже был дома — музыка играла. Китси обрадовалась, помчалась, чтоб сказать привет, а он разорался и захлопнул дверь прямо у нее перед носом.

Я вздрогнул. Китси боготворила Платта.

— Потом пришла мама. Пошла к нему в комнату. Потом долго сидела на телефоне. Что-то мне подсказывает, что и папа уже домой едет. Они сегодня вечером должны были ужинать с Тикхорами, но, кажется, все отменилось.

— А с ужином что? — спросил я, помолчав немного.

Обычно в будни мы с Энди ужинали возле телика, заодно делая домашку, но раз Платт дома, мистер Барбур вот-вот появится и все планы на вечер отменены, то, похоже, нас ждал ужин в кругу семьи.

Энди характерным жестом — суетливо, по-старушечьи, поправил на носу очки. И хоть у меня волосы были темные, а у него светлые, я лишний раз отметил, до чего в этих подобранных миссис Барбур очках, точь-в-точь как у Энди, я выгляжу как его брат-зубрила — я это особенно стал замечать с тех пор, как одна девчонка в школе обозвала нас “братья Глупики” (или, может, “братья Тупики” — да и какая разница, все равно, комплиментом это

уж точно не было).

— Давай-ка дойдем до “Серендипити” и съедим по гамбургеру, — сказал Энди. — Что-то мне совсем не хочется тут быть, когда папа придет домой.

— И меня возьмите! — неожиданно прискакала и чуть не врезалась в нас раскрасневшаяся, запыхавшаяся Китси.

Мы с Энди переглянулись. Китси даже на автобусной остановке старалась встать от нас подальше.

— Ну пожалуйста, — провила она, глядя то на меня, то на Энди. — Тодди на футбольной тренировке, у меня деньги есть, не хочу с ними тут одна оставаться, ну пожалуйста!

— Слушай, ну пусть, — сказал я Энди, и Китси одарила меня благодарным взглядом.

Энди сунул руки в карманы.

— Ладно, — сказал он безо всякого выражения.

Они словно две белые мышки, подумал я, только Китси — мышка-принцесса, комочек сахарной ваты, а Энди — скорее понурый, анемичный мышонок из зоомагазина, которого покупаешь, чтоб скормить боа-констриктору.

— Шевелись тогда. Живо! — сказал он, потому что она все стояла, раскрыв рот. — Ждать я тебя не собираюсь. И деньги не забудь, потому что платить за тебя я тоже не собираюсь.

13.

Чтоб поддержать Энди, я пару дней после этого не ездил к Хоби, хоть атмосфера в доме была такой напряженной, что уехать так и подмывало. Энди был прав: никак нельзя было понять, что же такого натворил Платт, потому что мистер и миссис Барбур вели себя так, будто ничего не случилось (да только видно было — случилось), а сам Платт молчал как рыба и за едой сидел угрюмо над своей тарелкой, завесив лицо волосами.

— Уж поверь мне, — сказал Энди, — лучше, когда ты здесь. Они разговаривают и хоть как-то стараются быть нормальными.

— Как по-твоему, что он сделал?

— Честно, не знаю. И знать не хочу.

— Да хочешь.

— Ну да, — сознался Энди. — Но я правда вообще без понятия.

— Как думаешь, он списывал? Воровал? Жевал жвачку в церкви?

Энди пожал плечами:

— В прошлый раз, когда у нас с ним были проблемы, он ударил кого-то по лицу клюшкой для лакросса. Но и тогда все было не так. — И вдруг, совершенно неожиданно: — Мама больше всех любит Платта.

— Думаешь? — уклончиво переспросил я, хоть и знал, что это чистая правда.

— Папина любимица — Китси. А мама любит Платта.

— Тодди она тоже очень любит, — сказал я и только потом сообразил, как это прозвучало.

Энди поморщился:

— Если б я не был так похож на маму, — сказал он, — то решил бы, что меня подменили

Отчего-то во время этого тягостного антракта (наверное, потому что загадочные проблемы Платта напомнили мне о моих собственных) мне в голову пришла мысль: может, стоит рассказать Хоби про картину, ну или — по крайней мере — как-то туманно коснуться в разговоре этой темы и посмотреть, как он отреагирует. Но я совсем не знал, как к этому подступиться. Картина так и лежала дома, там, где я ее бросил, в сумке, которую я принес из музея. В тот жуткий день, когда я заходил домой за школьными вещами, сумка так и стояла там, возле дивана, и я старательно обходил ее, будто бомжа с протянутой рукой на тротуаре, все время спиной ощущая бледный холодный взгляд миссис Барбур, которая стояла в дверях, скрестив руки на груди, и оглядывала нашу квартиру и мамины вещи.

Все было так сложно. Стоило мне вспомнить о картине, и у меня живот сводило, так что первым побуждением было прихлопнуть крышку, подумать о чем-то другом. К несчастью, я затанул с этим своим молчанием, а теперь и вовсе казалось, что открывать рот уже поздно. И чем больше времени я проводил с Хоби, с его изувеченными хепплауитами и чиппендейлами, со старыми вещами, о которых он так усердно заботился, тем больше понимал, как нехорошо про это молчать. А что если кто-то найдет картину? Что со мной будет? Например, домовладелец мог зайти в квартиру — у него же был ключ, хотя, даже если он и зашел бы, вряд ли прямо сразу на нее бы наткнулся. И все равно я понимал, что играю с огнем, оставив ее валяться там и оттягивая принятие решения.

И дело-то было не в том, что мне не хотелось ее возвращать, если б можно было ее вернуть каким-нибудь чудесным способом, силой мысли, например — вернул бы в ту же секунду. Но я никак не мог придумать, как бы сделать это так, чтоб еще не подвергнуть опасности ни картину, ни себя самого. После взрыва по всему городу расклеили объявления о том, что вещи, оставленные без присмотра, будут уничтожать на месте, и это положило конец большинству моих гениальных планов куда-нибудь ее анонимно подбросить. Любой подозрительный чемодан или сверток и проверять не станут, взорвут и всё.

Я знал только двух взрослых, которым теоретически мог бы довериться: Хоби и миссис Барбур. Из них двоих Хоби виделся мне куда более приятным и куда менее устрашающим вариантом. Хоби гораздо легче будет объяснить, как получилось, что картина оказалась у меня. Что я взял ее типа по ошибке. Что выполнял просьбу Велти, что был контужен. Не понимал до конца, что делаю. Что совсем не хотел так долго ее у себя держать. Но мне, в бездомной моей неприкаянности, казалось полным безумием открыть рот и признаться в том, что многие, как я знал, сочтут серьезным преступлением. И тут, как по совпадению, когда я уже стал понимать, что ждать больше не могу и надо что-то делать, мне в “Таймс”, в разделе деловых новостей, на глаза попался маленький черно-белый снимок картины.

Скорее всего из-за напряженной обстановки, воцарившейся в доме после Платтова позора, газеты стали иногда ускользать из кабинета мистера Барбура, где они сначала разлетались на страницы и появлялись уже частями, по полосе-другой. Кое-как сложенные, страницы эти валялись возле обернутого в салфетку стакана с содовой (визитной карточки мистера Барбура) на журнальном столике в гостиной. Статья была длинная и нудная, напечатана была ближе к концу раздела — потому что про индустрию страхования: про

финансовые трудности, связанные с устройством крупных художественных выставок в период экономической нестабильности, и в особенности про то, как сложно страховать предметы искусства, вывозимые на выставки за рубеж. Но мое внимание в первую очередь привлекла подпись под фотографией:

“Щегол”, уничтоженный шедевр Карела Фабрициуса (1654).

Забыв про все на свете, я уселся в кресло мистера Барбура и принялся вглядываться в плотно набранный текст в поисках каких-либо упоминаний о моей картине (я уже тогда начал думать о ней как о своей, так легко проскользнула эта мысль, будто я ей всю жизнь владел).

Законы международного права вступают в силу при культурном терроризме такого масштаба, который потряс не только сообщество ценителей искусства, но и финансовый мир. “Невозможно оценить потерю даже одного из этих шедевров, — говорит лондонский страховой аналитик Мюррей Твитчелл. — Двенадцать произведений искусства утеряны и предположительно уничтожены, и еще двадцать семь — серьезно повреждены, хотя некоторые, возможно, и удастся отреставрировать”. Представители компании “Арт Лосс” — создатели международного реестра утраченных произведений искусства бесполезно, по мнению многих, попытались...

Продолжение статьи было на другой странице, но тут как раз в комнату вошла миссис Барбур, и газету пришлось отложить.

— Тео, — сказала она, — у меня есть к тебе предложение.

— Какое? — настороженно спросил я.

— Не хочешь летом поехать с нами в Мэн?

На мгновение я от радости аж опешил.

— Да! — сказал я. — Ух ты! Как круто!

Даже она не удержалась от улыбки, ну самую малость.

— Хорошо, — сказала она, — Ченс уж точно будет рад занять тебя работой на яхте. Мы, похоже, в этом году выдвинемся пораньше — ну, то есть Ченс с детьми поедет пораньше. А я доделаю кое-какие дела в городе и присоединюсь к вам через недельку или две.

Я был так счастлив, что не знал, что и сказать.

— Посмотрим, понравится ли тебе ходить под парусом. Может, тебе это больше придется по душе, чем Энди. Будем хотя бы на это надеяться.

— Думаешь, будет прикольно? — угрюмо спросил меня Энди, когда я вбежал в нашу комнату (вбежал, а не вошел), чтобы сообщить ему хорошие новости. — Не будет. Будет жесть.

И все равно я видел, как он обрадовался. В тот вечер, перед тем как лечь спать, мы с ним сидели на нижней койке и обсуждали, какие книжки с собой возьмем и какие игры, и какие симптомы у морской болезни, чтобы я, если захочу, мог отвертеться от помощи на палубе.

После таких двойственных новостей — и с обеих сторон хороших — я обмяк и одурел от облегчения. Если моя картина уничтожена, если власти так считают, то у меня еще куча времени на то, чтобы решить, что с ней делать. И опять же, как по волшебству, приглашение миссис Барбур, казалось, включало в себя не только лето, но и простиралось куда-то дальше, за горизонт, и теперь будто бы весь Атлантический океан лежал между мной и дедулей Декером — стало так легко, что аж голова кружилась, и я только и делал, что радовался этой отсрочке. Я знал, что надо отдать картину или Хоби, или миссис Барбур, сдать ее им на милость, рассказать все как есть, умолять о помощи — и где-то в глубине души я ясно, горько осознавал, что, если не сделаю этого, потом пожалею, — но голова у меня была забита Мэном и яхтами, чтоб еще о чем-либо думать; более того, мне в голову даже закрадывались мысли, что, может, умнее будет придержать пока картину у себя — навряд ли страховки на следующие три года, чтобы не пришлось ехать жить к дедуле Декеру и Дороти. Ну, и вершиной моей потрясающей наивности стала мысль о том, что я, может, даже смогу, если понадобится, продать картину. Так что я помалкивал, разглядывал карты и навигационные схемы с мистером Барбуром и покорно сходил с миссис Барбур в “Брукс Бразерс”, где она купила мне пару палубных туфель и несколько легких хлопковых свитеров, чтоб надевать прохладными вечерами. И так никому ничего и не сказал.

16.

— Слишком я был образованный, вот в чем была моя беда, — сказал Хоби. — Отец мой по крайней мере так думал.

Я был у него в мастерской, помогал разбирать бесконечные кусочки старого вишневого дерева — одни покраснее, другие побурее, все — прибереженные обломки старой мебели, искал оттенок, который ему был нужен, чтобы подлатать окантовку тумбы напольных часов.

— Отец занимался грузоперевозками (это я уже знал, компания была настолько известной, что это имя даже я слышал), — и вот и летом, и на рождественских каникулах я у него разгружал грузовики, а до того, чтобы сесть за руль грузовика, говорил он, мне еще надо дорасти. Мужики на погрузочной площадке все как один смолкли, едва я туда зашел. Хозяйский сынок, сам понимаешь. Хотя их-то понять можно, иметь моего отца в начальниках было хуже, чем черта лысого. Ну, в общем, он меня с четырнадцати лет и припряг — грузить коробки после школы, по выходным, под дождем. Иногда и в конторе приходилось работать — замызганная была, унылая конура. Зимой дрожишь от холода, а летом — пекло, как в преисподней. Орешь, чтоб перекрыть грохот вентиляторов. Поначалу я работал только летом и на рождественских каникулах. Но потом, когда я окончил второй курс колледжа, он объявил, что больше за мое обучение платить не собирается.

Я отыскал кусок дерева, который вроде бы неплохо подходил к сломанной детали и подсунул его Хоби.

— У вас были плохие оценки?

— Нет, я хорошо учился, — ответил он, подняв деревяшку, поглядев ее на свет и отложив в кучку с другими подходящими вариантами. — Дело было в том, что сам он в колледже не учился, и ничего, вон сколько всего добился, что, неправда, что ли? А я что, считаю себя лучше него? Но кроме того, такой уж он был человек, из тех, кто каждого загнать пытается — сам таких знаешь, наверное, и, думается мне, его просто осенило в какой-то момент, как

лучше всего прижать меня к ногтю и заставить работать бесплатно. Сначала, — он поразглядывал пару секунд очередной кусок шпона, затем отложил его в кучку “на подумать”, — сначала он велел мне сделать перерыв на годик — а то и на три, четыре, уж сколько потребуется — и заработать остаток денег на учебу своим горбом. Из этих денег я и гроша не увидел. Жил я дома, а он все деньги клал на специальный счет, понял? Для моего же блага. Ну жестко, конечно, думал я, но справедливо. Но вдруг, после того как я три года отпахал на него в полную смену — правила игры изменились. Внезапно, — он рассмеялся, — я, что же, не понимал условий сделки? Я ж плачу ему за первые свои два года в колледже. Ничего он и не откладывал.

— Ужас какой! — вырвалось у меня, после того как я долго, ошеломленно молчал. Непонятно было, как он может о такой несправедливости говорить смеясь.

— Ну, — он закатил глаза, — я тогда еще зелен был, но сообразил, что при таком раскладе помру от старости раньше, чем оттуда выберусь. Но денег у меня не было, жить было негде, а что делать-то? Я пытался что-то придумать, как вдруг — чудеса да и только — к нам в контору зашел Велти. как раз, когда папаша на меня орал. Отец, он обожал меня отчитывать перед всеми своими работниками — куражился, будто мафиозный воротила, рассказывал, сколько я ему должен за то, за се, вычитал долг из моей — в кавычках — зарплаты. Удерживал фантомные зарплатные чеки за какие-то надуманные нарушения. Такого рода шуки.

— Велти... его я и до этого видел. Он заходил в контору, чтобы организовать перевозку вещей после распродажи чьих-то коллекций — Велти всегда повторял, что из-за горба ему надо было расстараться, чтобы произвести хорошее впечатление, чтобы заставить людей увидеть за уродством человека, но мне он сразу понравился. Да он почти всем сразу нравился — даже отцу, который, скажем так, людей ни во что не ставил. Ну, в общем, Велти увидел, как он на меня орет, на следующий день позвонил отцу и сказал, что ему бы пригодилась моя помощь — упаковывать вещи в том доме, где он скупил антиквариат. Я был крепкий, здоровый парень — самое то что надо. Ну и, — Хоби встал, потянулся, — Велти был крупным клиентом. И отец, уж по каким-то своим резонам, согласился.

Я помогал ему упаковывать вещи в старом особняке де Пейстеров. И так сложилось, что самую старушку миссис де Пейстер я знал очень хорошо. Я еще в детстве очень любил забредать к ней в гости — забавная она была бабулька: носила ярко-желтый парик, фонтанировала информацией, везде — стопки документов, о местной истории она знала все и рассказчицей была великолепной, — в общем, дом был внушительный, доверху набит хрусталем от Тиффани, превосходной мебелью девятнадцатого века, и я сумел помочь Велти с провенансом многих вещей куда лучше дочери миссис де Пейстер, которую вообще не интересовал ни стул, на котором сидел президент Маккинли, ни что-то в этом роде. Тем вечером, когда я закончил с упаковкой вещей — было часов шесть, и я с головы до ног был покрыт пылью, — Велти откупорил бутылку вина, мы с ним уселись посреди коробок и распили ее — знаешь, так, на голом полу, под эхо пустого дома. Я падал от усталости — он заплатил мне на руки наличными, чтоб обойти отца, и сказал: слушай, я недавно открыл магазин в Нью-Йорке, если нужна работа — считай, она у тебя есть. Мы подняли за это бокалы, я отправился домой, собрал чемодан — в основном там были книжки, — попрощался с домработницей и на следующий день автостопом на грузовике добрался до Нью-Йорка. Уехал, не оборачиваясь.

Наступило затишье. Мы все еще сортировали шпон: постукивали тонкими, как бумага,

деревяшками, будто фишками в какой-то старинной китайской игре — звук был до того нездешне-легкий, что, казалось, теряешься где-то в совсем громадном молчании.

— О! — воскликнул я, заметив один кусочек — я схватил его и торжественно вручил Хоби: полное совпадение по цвету, куда лучше, чем все отложенные им.

Он взял его, оглядел под лампой.

— Ничего, да.

— А что с ним не так?

— Ну, видишь — он поднес кусочек шпона к окантовке тумбы, — в работе такого рода важнее всего, чтоб у дерева зерно совпало. В этом весь фокус. А разницу в оттенках подогнать потом проще. Теперь смотри, — он поднял другой кусочек, заметно светлее на пару тонов, — чуть-чуть натереть воском, слегка подкрасить нужным цветом — и может, и получится. Бихромат калия, капельку коричневой вандейка, иногда, если уж очень сложно подобрать нужную текстуру — с некоторыми типами ореха такое случается — я вычернял, бывало, кусок нового дерева нашатырным спиртом. Но только когда больше совсем ничего не мог поделать. Если есть возможность, всегда лучше брать дерево того же возраста, что и мебель, которую чинишь.

— Как это вы так выучили все, что надо делать? — робко помолчав, спросил я.

Он рассмеялся:

— Да так же, как ты сейчас учишься! Стоял рядом, смотрел. Где мог, помогал.

— Велти вас научил?

— О, нет. Он во всем разбирался, знал, как это все делается. В этом деле по-другому нельзя. Глаз у него был верный, и я частенько кидался за ним, когда нужно было мнение специалиста. Но до того, как я стал на него работать, он обычно не брался за вещи, которые требовали реставрации. Это кропотливая работа, для нее особый характер нужен, а у него на то не было ни сил, ни темперамента. Покупать ему нравилось куда больше — знаешь там, по аукционам ходить, сидеть в магазине, болтать с покупателями. Каждый вечер часов в пять я выбирался к нему наверх на чашку чая. “Влекомый из тюрьмы”^[25]. Тогда тут было чертовски мерзко — плесень, сырость. Когда я устроился к Велти, — он рассмеялся, — на него тут работал старикан по имени Эбнер Моссбанк. Ноги не ходят, пальцы скрючены артритом, почти слепой. Один предмет чуть ли не год мог реставрировать. Но я стоял у него за спиной и глядел, как он работает. Он как хирург был. Никаких вопросов. Полная тишина! Но он знал абсолютно все — такое, чего другие люди уж и делать не умели или даже уже и не желали учиться — эта профессия с каждым новым поколением все сильнее на ладан дышит.

— А отец отдал вам заработанные деньги?

Он густо расхохотался:

— Да ни гроша! И слова мне после этого ни сказал. Он был злобный старикашка, свалился замертво от сердечного приступа как раз, когда увольнял одного из своих старейших сотрудников. Видел бы ты только эти, наверное, самые малолюдные в мире похороны. Под ледяной крупой — три черных зонтика. Сразу Эбenezер Скрудж вспоминается.

— И вы так и не вернулись в колледж?

— Нет. Я и не хотел. Я же нашел занятие себе по душе. Так что, — он упер ладони в поясицу, потянулся — его мешковатый, не совсем чистый пиджак с лоснящимися локтями делал из него добродушного кучера, который идет себе на конюшню, — мораль тут такова: никогда не знаешь, куда тебя все это заведет.

— Все — что?

Он засмеялся:

— Твои каникулы под парусом, — ответил он, направляясь к полке, на которой пузырьки с пигментами были выстроены, будто настои у аптекаря: землисто-охряные, ядовито-зеленые, угольный порошок и жженая кость. — Может статься, это переломный момент. Море, оно так, бывает, людей прихватывает.

— У Энди морская болезнь. На яхте он все время таскается с пакетиком, чтоб туда блевать.

— Ну что ж, — он потянулся за пузырьком ламповой сажи, — признаюсь, что меня оно так и не захватило. В детстве — “Сказание о старом мореходе”, с гравюрами Доре — от океана у меня мурашки по коже, но у меня и не было такого приключения, которое ждет тебя. Так что, кто знает. Потому что, — сведя брови, он выстукивал из баночки на палитру мягкий черный порошок, — я и не думал, что мою судьбу решит старая мебель миссис де Пейстер. Может, тебя заморозят крабы-отшельники и ты захочешь стать морским биологом. Или решишь строить яхты, или стать художником-маринистом, или написать книгу о “Лузитании”.

— Может, — ответил я, сложив руки за спиной.

Но то, на что я на самом деле надеялся, мне и сформулировать было боязно. От одной мысли об этом меня трясоти начинало. Потому что вот какое было дело: Китси и Тодди стали вести себя со мной гораздо, гораздо приветливее, как будто их отвели в сторонку и кое-что сказали, и я замечал, какими взглядами — неуловимыми намеками — перебрасываются мистер и миссис Барбур, и надеялся — даже уже больше, чем надеялся. Вообще-то именно Энди подкинул мне эту мысль.

— Они думают, что общение с тобой идет мне на пользу, — сказал он как-то по пути в школу. — Что ты вытаскиваешь меня из моей раковины, прокачиваешь мои социальные навыки. Похоже, когда приедем в Мэн, они сделают официальное семейное заявление.

— Заявление?

— Не тупи, а? Они к тебе здорово привязались — особенно мама. Да и папа тоже. Думаю, они хотят тебя оставить.

17.

Я ехал обратно в автобусе, немного клюя носом, уютно покачиваясь из стороны в сторону и глядя на мелькающие за окном мокрые субботние улицы. Когда я вошел в квартиру — весь продрогший после прогулки под дождем, в прихожую выскочила Китси и уставилась на меня безумным, замороженным взглядом, будто на забредшего к ним страуса.

Через пару неподвижных мгновений она метнулась обратно в гостиную, стуча сандаликами по паркету и вопя:

— Мам! Он пришел!

Появилась миссис Барбур.

— Здравствуй, Тео, — сказала она. Она была совершенно спокойна, но было в ее манере что-то натянутое, хотя я никак не мог понять, что же не так. — Иди сюда. У меня для тебя сюрприз.

Я пошел за ней в полутемный из-за хмурой погоды кабинет мистера Барбура — висевшие по стенам навигационные карты и несущиеся по серым подоконникам струи дождя

превращали его в декорации каюты застигнутого штурмом корабля. Из мягкого кресла на другом конце комнаты поднялся человек.

— Здорово, дружище, — сказал он. — Давно не виделись.

Я застыл в дверях. Голос я узнал сразу — отец.

Он шагнул вперед, к тусклому свету из окна. Он, это был он, хоть и переменялся с тех пор, как я его в последний раз видел: слегка раздался, загорел, лицо обрюзгло, костюм на нем был новый, а стрижка такая, что он был похож на бармена откуда-нибудь из Виллидж. Я в замешательстве оглянулся на миссис Барбур, и она ответила мне бодрой, но беспомощной улыбкой, будто говоря — ну а что я могу поделаться?

Пока я так стоял, потеряв от шока дар речи, сзади возник еще кто-то, протиснулся вперед отца, на первый план:

— Привет, я Ксандра, — раздался грудной голос.

Оказалось — странная женщина, загорелая, подтянутая, с невыразительными серыми глазами, кирпичной кожей в морщинках и слегка запавшими зубами со щербинкой посередине. Хоть она была старше мамы — ну выглядела старше, уж точно, — одета она была по-молодежному: красные сандалии на платформе, джинсы с низкой талией, широкий ремень и тонны золотых украшений. Ее волосы — очень прямые, с посекшимися концами — были цвета засахаренной соломы, она жевала жвачку, и от нее так и несло “джуси фрут”.

— К-сандра, через “К”, — добавила она, подсипывая. Глаза у нее были ясные, бесцветные, обнесенные частоколом черной туши, а взгляд — властный, уверенный, немигающий. — Не Сандра. И, ради бога, не Сэнди. Меня так без конца называют, я от этого на стенку лезу.

С каждым ее словом мое изумление только росло. Я никак не мог собрать ее в единое целое: алкогольный голос, мускулистые руки, китайский иероглиф, вытатуированный на большом пальце ноги, длинные квадратные ногти с белыми кончиками, серьги — морские звезды.

— Эээ, мы всего как часа два назад приземлились в Ла Гуардии, — сказал отец, прокашлявшись, будто бы это все и объясняло.

Это что, отец ради нее нас бросил? Я в ступоре снова оглянулся на миссис Барбур, но ее и след простыл.

— Тео, я теперь в Лас-Вегасе, — сказал отец, глядя куда-то в стену у меня надо головой. Говорил он по-прежнему четким, уверенным голосом актера, но хоть это и звучало внушительно, было видно, что ему так же неловко, как и мне. — Наверное, надо было тебе позвонить, но я подумал, что проще будет сразу за тобой приехать.

— За мной? — повторил я после долгой паузы.

— Скажи ему, Ларри, — вклинилась Ксандра. И мне: — Ты гордись папулей. Он в завязке. Ты уж сколько дней трезвенький? Пятьдесят один? И в больничку не ходил, все сам, сам закодировался дома на диване — коробкой шоколадок с Пасхи и пузырьком валиума.

Мне было до того стыдно глядеть и на нее, и на отца, что я снова оглянулся на дверь и увидел, что в коридоре стоит Китси Барбур с громадными округлившимися глазами и слушает это все.

— Потому что, в общем, я-то с этим мириться не стала, — сказала Ксандра таким тоном, будто моя мама уж конечно потворствовала отцовскому алкоголизму и поощряла его. — Моя вот мамуля была такой алкашкой, что хоть сблюет в стакан вискаря, а все равно выпьет. И вот как-то вечером я ему говорю: Ларри, я тебя не прошу, конечно, никогда больше

не пить и, по правде сказать, “Анонимные алкоголики” с таким. как ты, уже не справишься...

Отец прокашлялся и поглядел на меня с приветливым лицом, которое обычно приберегал для посторонних. Пить он, может, и перестал, но вид у него был обрюзгший, лоснящийся, чуть остекленевший, будто последних месяцев восемь он сидел на ромовых коктейлях и гавайских закусках.

— Эээ, сынок, — сказал он, — мы тут прямо с самолета и зашли потому — ну, потому что, конечно же, сразу хотели с тобой повидаться...

Я выжидал.

— ...и нам нужны ключи от квартиры.

Все завертелось как-то слишком быстро.

— Ключи? — переспросил я.

— Не можем туда попасть, — без обиняков сказала Сандра. — Уж пробовали.

— Дело в том, Тео, — сказал отец ровным задушевым тоном, деловито проводя рукой по волосам, — что мне нужно попасть в квартиру на Саттон-плейс и посмотреть, что там и как. Уверен, там сейчас полнейший бардак, так что кто-то уж должен прийти и все уладить.

Если бы ты не устроила тут такой адов бардак... Именно это проорал отец, когда недели за две до того, как сбежал, они с мамой разругались так, что хуже свары я и не припомню — из-за того, что с подносика на маминой прикроватной тумбочке пропали ее сережки с изумрудами и бриллиантами. Отец (лицо покраснелось, передразнивает ее издевательским фальцетом) говорил, что она сама виновата, что их, наверное, взяла Чинция или еще хрен теперь знает кто, и что за дурацкая привычка разбрасывать по квартире драгоценности, и теперь она, может, наконец научится следить за своими вещами. Но мама — с пепельно-белым от злости лицом — напомнила ему, что сняла сережки в пятницу вечером, а Чинция после этого у нас не убиралась.

“Это на что же ты намекаешь?” — вопил отец.

Молчание.

“Я теперь вор, значит?! Ты собственного мужа обвиняешь в том, что он у тебя цапки ворует?! Что за больной бред?! Тебе лечиться надо, понятно? Обратиться к специалистам...”

Но пропали не только сережки. После того как он сам исчез, выяснилось, что вместе с ним исчезли и кое-какие другие вещи — деньги и несколько старинных монет, принадлежавших еще маминому отцу; мама тогда поменяла замки и предупредила Чинцию и швейцаров, чтоб не пускали его в квартиру, если он появится, пока она на работе. Теперь, конечно, все переменялось, и никто больше не мог помешать ему войти в дом, рыться в ее вещах и делать с ними все, что ему заблагорассудится, и пока я стоял перед ним, придумывая, что же, блин, ему ответить, в голове у меня проносились десятки мыслей, и в первую очередь я думал о картине. Неделями напролет я каждый день все думал — зайду туда, возьму картину, придумаю что-то, но все откладывал и откладывал, а теперь вот он появился.

Отец все тянул передо мной губы в улыбке:

— Ну что, дружище? Поможешь нам?

Может, он и бросил пить, но застарелый голод по вечернему стаканчику так и проступал из него, шершавый, как наждак.

— У меня ключей нет, — сказал я.

— Ну и ладно, — быстро нашелся отец, — вызовем слесаря. Ксандра, дай-ка телефон.

Я лихорадочно соображал. Нельзя, чтобы они без меня заходили в квартиру.

— Хозе или Золотко нас могут впустить, — сказал я. — если я с вами схожу.

— Отлично, — сказал отец, — тогда идем.

По его тону я заподозрил, что мое вранье про ключ (который был надежно спрятан у Энди в комнате) он раскусил. И я знал, что он не в восторге от того, что придется привлекать к этому швейцаров, потому что большинство работавших в нашем доме парней отца ни в грош не ставили, потому что слишком уж часто видели его в стельку пьяным. Но я глядел на него так бесстрастно, как только мог, и наконец он пожал плечами и отвел глаза.

18.

— *Hola, Jose!*^[26]

— *¡Bomba!* — воскликнул Хозе, счастливо отпрыгнув назад, едва завидел меня на дорожке, из всех швейцаров он был самый молодой и бодрый, вечно норовил улизнуть до конца смены и поиграть в парке в футбол. — *Teo! ¿Qué lo que, manito?*^[27]

От его беззаботной улыбки меня с размаху отбросило назад в прошлое. Все было прежним: зеленый козырек, желтушный навес, все та же заросшая грязью лужица в просевшем тротуаре. Стоя перед дверьми ар-деко, ослепительно-никелевыми, изрезанными лучами абстрактного солнца — такие двери в фильме 30-х годов могли толкать ретивые газетчики в федорах, — я вспомнил, сколько раз я заходил в холл и сталкивался с мамой, которая, поджидая лифт, разбирала почту. Она только-только зашла с работы, на каблуках, с портфелем, в руках — букет цветов, который я послал ей в честь дня рождения. *Нет, ты представляешь? Мой тайный поклонник снова дал о себе знать.*

Хозе перевел взгляд на отца и державшуюся чуть поодаль Ксандру.

— Здравствуйте, мистер Декер, — сказал он чуть более официальным тоном, ответив через мою голову на его рукопожатие: вежливо, но без особой радости. — Рад вас видеть.

Отец, надев свою Приятнейшую Улыбку, начал было ему отвечать, но я так разнервничался, что перебил его:

— Хозе, — по пути сюда я старательно вспоминал весь свой испанский, повторяя в уме, что надо сказать, — *mi papá quiere entrar en el apartamento, le necesitamos abrir la puerta*^[28], — и затем, быстро вбросил вопрос, который сложил по пути сюда: — *¿Usted puede subir con nosotros*^[29]?

Хозе бросил быстрый взгляд на отца с Ксандрой. Он был огромным симпатичным доминиканцем, чем-то напоминавшим молодого Мохаммеда Али — добряк, сплошные шутки-прибаутки, но чуешь, что с ним лучше не связываться. Однажды, разоткровенничавшись, он задрал свой форменный пиджак и показал мне шрам от ножа на животе, сказав, что получил его в уличной драке в Майами.

— Рад помочь, — непринужденно ответил он по-английски. Смотрел он на них, но я понимал, что обращается он ко мне. — Отведу вас. Все в порядке?

— Да, в норме, — сухо ответил отец.

Это он настоял на том, чтоб я в качестве иностранного языка выбрал испанский, а не немецкий (“тогда хоть кто-то у нас в семье сможет общаться с этими сраными швейцарами”).

Ксандра, которую я про себя уже начал считать качественной идиоткой, нервно хихикнула и сказала быстро, глотая слова:

— Да, все ок, но перелет нас укатал. Из Вегаса лететь далеко, и мы еще... — она закатила глаза и повертела пальцами, изображая отходняк.

— Правда? — спросил Хозе. — Сегодня? В Ла Гуардию прилетели?

Как и все швейцары, он отлично умел поддержать светскую беседу, особенно о погоде или пробках и о том, как лучше добираться в аэропорт в час пик.

— Слышал, там сегодня сплошные задержки, что-то неладное с погрузчиками багажа, профсоюз, что-то такое, верно?

Всю дорогу наверх, пока мы ехали в лифте, из Ксандры лился непрерывный, взбудораженный треп: и как же грязно в Нью-Йорке после Лас-Вегаса (“Да, признаюсь, на Западе почище будет, по ходу я этим избалована”), и какой протухший у нее был в самолете сэндвич с индейкой, и как стюардесса “забыла” (Ксандра пальцами делает кавычки) принести ей пять долларов сдачи за заказанный Ксандрой бокал вина.

— Ох, мэ, — сказал Хозе, выходя из лифта и покачивая головой со свойственной ему наигранной серьезностью, — нет ничего хуже этой самолетной еды. Еще надо спасибо сказать, если вообще покормят. Хотя я вам вот что скажу про Нью-Йорк. Еда тут отличная. Отличная вьетнамская кухня, кубинская, индийская...

— Прямо вот всякое острое терпеть не могу.

— Ну, что хотите тогда. У нас все есть. *Segundito*^[30], — он поднял палец и принялся отыскивать в связке нужный ключ.

Замок громыхнул основательно — щелк! — ввевшийся, нутряной в своей правильности звук. Хоть воздух в квартире, куда долго никто не заходил, был спертый, меня чуть не расплющило неукротимым запахом дома: книг, старых ковриков, средства для мытья полов с лимонным ароматом, мирры темных свечей, которые она купила в “Барнис”.

Сумка из музея так и стояла на полу, возле софы — там, где я ее оставил, сколько уж теперь недель назад? Плохо соображая, я метнулся мимо Хозе в квартиру и схватил сумку, пока швейцар — как будто невзначай перекрыв дорогу закипающему отцу — стоял в дверях, скрестив руки на груди и слушая Ксандру. Его невозмутимый, но слегка отсутствующий взгляд был похож на тот, с каким он однажды морозной ночью практически затаскивал отца наверх, когда тот так напился, что где-то потерял пальто.

— С кем не бывает, — говорил он с неопределенной улыбкой, отказываясь от двадцатки, которую отец, несвязно лепечущий что-то, в заблеванном пиджаке, исцарапанный и до того грязный, будто по земле катался, совал ему под нос.

— Я сама вообще с Восточного побережья, — говорила Ксандра, — из Флориды. — И снова этот нервный смешок — дерганый, с запинками. — Из Вест-Палма, если быть точной.

— Из Флориды, говорите? — услышал я ответ Хозе. — Там красота.

— Да, там здорово. Ну, в Вегасе у нас хоть солнца навалом — уж не знаю, как бы я пережила местную зиму, превратилась бы в мороженое...

Едва я схватил сумку, как понял, что она слишком легкая — почти как пустая. Да где же тогда картина? Меня слепила паника, но я все бежал дальше по коридору, на автопилоте к себе в комнату, иду, а в голове все так и вертится, крутится...

Внезапно, сквозь разрозненные воспоминания о той ночи — меня осенило. Сумка промокла, я не хотел оставлять картину в мокрой сумке, чтоб она не заплесневела, не растеклась, ну или что там с ней еще могло случиться. И поэтому — как же я мог забыть? — я выставил картину на мамино бюро, чтоб она ее сразу увидела, как придет домой. Быстро, не останавливаясь, я бросил сумку прямо в коридоре у закрытой двери в свою комнату и с

гудящей от страха головой повернул в спальню к маме, надеясь, что отец не пошел за мной, боясь оглянуться и проверить.

Из гостиной донесся голос Ксандры:

— Уж вы тут, наверное, то и дело знаменитостей встречаете, да?

— Это да. Леброна, Дэна Эйкройда, Тару Рид, Джей-Зи, Мадонну...

В маминой спальне было темно и прохладно, и легкий, едва уловимый аромат ее духов было почти невозможно выносить. Вот она, картина, стоит, прислоненная к фотографиям в серебряных рамках — ее родители, она сама, я всех возрастов, уйма собак и лошадей: Досочка, кобыла ее отца, немецкий дог Бруно, ее такса Поппи, которая умерла, когда я еще ходил в детский сад. Внутренне каменея, чтоб вытерпеть ее очки для чтения на бюро, ее черные колготки, вывешенные подсушиться и засохшие, ее пометки в настольном календаре и миллион других рвущих сердце вещей, я схватил картину, сунул ее под мышку и быстро перебежал через коридор к себе в комнату.

Моя комната, как и кухня, окнами выходила в колодец между домами, и сейчас, с выключенным светом, там было темно. Отсыревшее смятое полотенце валялось там, куда я его кинул, вытершись после душа в то последнее утро — на куче грязной одежды. Я поднял его, морщась от запаха, думая набросить его на картину, пока не найду места получше, чтоб ее спрятать, например...

— Ты что делаешь?

В дверях стоял отец — затемненный силуэт, очерченный падающим сзади светом.

— Ничего.

Он нагнулся и поднял брошенную мной сумку.

— А это что такое?

— Школьная сумка, — ответил я, помолчав, хотя эта штука была точь-в-точь как мамина складная сумка для шопинга: ни я, да никто вообще в таком не станет таскать учебники.

Он кинул ее в комнату, сморщив нос от запаха.

— Фу-у, — сказал он, помахав ладонью у лица, — да тут как потными носками воняет.

Когда он протянул руку к стене, чтобы включить свет, я сложным рывком исхитрился набросить полотенце на картину, так что ее (я надеялся) не было видно.

— Это у тебя там что такое?

— Плакат.

— Ладно, слушай, я надеюсь, ты не потащишь с собой в Вегас кучу хлама. Зимние вещи не бери, не понадобятся — разве что какую-нибудь лыжную экипировку. Ты и не представляешь, как круто кататься в Тахо — не то что с местных ледяных горок на севере.

Я чувствовал, что должен что-то ответить, особенно потому, что то была самая долгая и вроде бы даже приветливая речь, которую я от него услышал с самого приезда, но отчего-то никак не мог собраться с мыслями.

Отец отрывисто сказал:

— Сам знаешь, с твоей матерью нелегко было жить.

Он схватил что-то — похоже, старую контрольную по математике, изучил и бросил обратно.

— Она никогда карт не раскрывала. Сам знаешь, какая она была. Раз, и захлопнулась. И ледяное молчание. Вечно из себя святую строила. Это было сильно — прямо по рукам связывало. По правде сказать, уж прости, что говорю такое, но дошло до того, что мне с ней даже в одной комнате тяжело было находиться. Ну, то есть я не говорю, что она была плохим

человеком. Просто в один момент все нормально и тут же — бам! — да что я такого сделал, и пошло-поехало, замолчала...

Я молчал — просто неуклюже стоял с картиной, обернутой в заплесневелое полотенце, в глаза мне бил свет, я мечтал очутиться где-нибудь в другом месте (в Тибете, на озере Тахо, на Луне) и не решался ничего ответить. Про маму он сказал сущую правду: она частенько бывала неразговорчива, а когда расстраивалась, то никак нельзя было понять, о чем она думает, но у меня не было желания обсуждать мамины недостатки, которые по сравнению с отцовскими казались в общем-то несущественными.

Отец говорил:

— ... потому что ничего я не могу доказать, понимаешь? В каждой игре — две стороны. Это не вопрос о том, кто прав, а кто виноват. И ладно, признаю, кое в чем был неправ, хотя вот что тебе скажу, да ты, я уверен, это и сам знаешь, она уж умела переписывать историю в свою пользу.

Странно было снова находиться с ним в одной комнате, еще и потому, что он теперь был совсем другой: пахло от него почти совсем по-новому, и какая-то новая была в нем грузность и тяжесть, какая-то гладкость, как будто бы он был весь подбит ровным сантиметровым слоем жирка.

— Наверное, многие пары через такое проходят — она просто так вдруг озлобилась, понимаешь? Такая скрытная стала. Вот честно, ну никак я не мог с ней жить больше, хотя видит бог, такого она не заслуживала...

Это уж точно, подумал я.

— Потому что, знаешь, в чем на самом-то деле была проблема? — спросил отец, облокотившись на дверной косяк и пристально глядя на меня. — Почему я ушел-то? Хотел снять денег с нашего счета, заплатить налоги, а она мне хлоп по пальцам, будто я своровать эти деньги собрался. — Он глядел на меня очень внимательно, высматривал, как я среагирую. — Это с совместного-то нашего счета. Жизнь меня, значит, приперла к стенке, а она мне не доверяет. Не доверяет собственному мужу.

Я не знал, что отвечать. Про налоги я в первый раз слышал, хотя то, что мама в денежных вопросах отцу не доверяла, не было для меня откровением.

— И вот до чего же она была злопамятной, господи! — продолжил он, полушутливо мне подмигнув, проведя рукой по лицу, — Око за око. Вечно надо ей было сравнивать счет. Потому что, блин, никогда она ничего не забывала. Двадцать лет ждать будет, а все равно с тобой посчитается. И, конечно, всегда все выглядело так, будто я во всем виноват, может, я, конечно, и был виноват...

Картина, хоть и маленькая, становилась все тяжелее и тяжелее, и я стоял с совершенно застывшим лицом, изо всех сил пытаюсь скрыть, как мне неудобно. Чтобы вытеснить голос отца, я принялся считать по-испански: *Uno dos tres, cuatro cinco seis...*

Когда я добрался до двадцати девяти, появилась Ксандра.

— Ларри, — сказала она, — а у вас с женой тут неплохая была квартирка.

Она это так сказала, что мне ее даже жаль стало, хоть не то чтоб от этого она мне стала больше нравиться.

Отец обхватил ее рукой за талию и как-то так примял ее к себе, что меня от этого движения чуть не вывернуло.

— Ну, — скромно ответил он, — вообще это больше ее квартира, чем моя.

Это ты верно подметил, подумал я.

— Идем-ка сюда, — сказал отец, беря ее за руку и увлекая в сторону маминой комнаты, разом позабыв про меня. — Я тебе покажу кое-что.

Я смотрел, как они уходят, — меня мутило от одной мысли о том, что отец с Ксандрой будут лапать мамины вещи, но так обрадовался, что они ушли, что было, в общем, наплевать.

[Купить полную версию книги](#)

notes

Дамы и господа (*нидерл.*).

Нераскрытое убийство. Неизвестный (*нидерл.*).

Ранее судимый американец (*нидерл.*).

“Кельтские сумерки” (*The Celtic Twilight*, 1893), собрание статей У. Б. Йейтса об ирландском фольклоре.

Оки (*okie*) — прозвище жителей Оклахомы, часто с негативным оттенком, от обозначения штата ОК.

Сеть нью-йоркских пиццерий и сеть нью-йоркских продуктовых магазинов.

Святая земля (*фр.*).

Имя и местоимение (*фр.*).

Все пропало (*фр.*).

Бургундское бренди, или крепкая виноградная водка.

FDNY (Fire Department City of New York) — Пожарная служба Нью-Йорка.

101 Парк-авеню — самое высокое здание Нью-Йорка, где расположены офисы крупных компаний.

Ничто (*исп.*).

Имеется в виду Джелет Берджесс, “Размышление о фиолетовой корове” (1895).

NYDoCFS — Нью-Йоркское государственное управление по делам семьи и ребенка.

Картошка фри (*исп.*).

Крупная сеть строительных супермаркетов.

Да, спасибо (*исп.*).

It's All Over Now, Baby Blue (1965) — известная песня Боба Дилана.

Уолт Уитмен, из стихотворения “На берегу морском ночью” (сборник “Листья травы”, 1855).

“Билли Бадд” — неоконченная повесть Мелвилла, отрывок приведен в переводе И. Гуровой.

Антиквар, любитель (*фр.*).

Изумительно (*нем.*).

Потайная лавка (*фр.*).

Переиначенная строка из стихотворения “Танатопсис” Уильяма Калена Брайанта “Не походил ты на раба — в тюрьму влекомого всеильным властелином”, пер. А. Плещеева.

Привет, Хозе! (*исп.*).

Ну, что как, братишка? (*исп.*).

Отец хочет войти в квартиру, ты нам откроешь? (*исп.*).

Можешь с нами подняться? (*исп.*).

Секундочку! (исп.).